



Афанасий
Мамедов

ПАРОХОД БАБЕЛОН

Сплав из семейных хроник
и исторического детектива
с политической подоплекой,
в котором трудно отличить
вымысел от правды,
исторический факт
от фантазии автора.



18+

Русский Декамерон

Афанасий Мамедов

Пароход Бабелон

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Мамедов А.

Пароход Бабелон / А. Мамедов — «Эксмо», 2021 — (Русский Декамерон)

ISBN 978-5-04-118192-5

Последние майские дни 1936 года, разгар репрессий. Офицерский заговор против Чопура (Сталина) и советско-польская война (1919–1921), события которой проходят через весь роман. Троцкист Ефим Милькин бежит от чекистов в Баку с помощью бывшей гражданской жены, актрисы и кинорежиссера Маргариты Барской. В городе ветров случайно встречает московского друга, корреспондента газеты «Правда», который тоже скрывается в Баку. Друг приглашает Ефима к себе на субботнюю трапезу, и тот влюбляется в его младшую сестру. Застолье незаметно переходит на балкон дома 20/67, угол Второй Параллельной. Всю ночь Ефим рассказывает молодым людям историю из жизни полкового комиссара Ефимыча. Удастся ли талантливому литератору и киносценаристу, в прошлом красному командиру, избежать преследования чекистов и дописать роман или предатель, которого Ефиму долгие годы не удастся вычислить, уже вышел на его след? «Пароход Бабелон» – это сплав из семейных хроник и исторического детектива с политической подоплекой, в котором трудно отличить вымысел от правды, исторический факт от фантазии автора. Судьбы героев романа похожи на судьбы многих наших соотечественников, оказавшихся на символическом пароходе «Бабелон» в первой половине XX века.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-118192-5

© Мамедов А., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Пролог	7
Глава первая	11
Глава вторая	36
Глава третья	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Афанасий Мамедов

Пароход Бабелон

Памяти моего деда Афанасия Ефимовича Милькина

*Знаков наших не увидели мы, нет больше пророка, и не с нами
знающий – доколе?*

Теилим, 74:9

Пролог

Однажды в Стамбуле

Хотя с момента переименования города прошло едва ли больше недели, искавшие в одном городе другой могли легко заблудиться на его улицах.

Что-то неуловимое покинуло город, ушло из его прежней жизни. Походило это на то, как если бы город был человек, и его стали называть другим именем, лишив заслуг и приписав свойства, которыми он не обладал прежде.

Ретроградный Меркурий не щадил никого. На исходе того самого дня, когда было объявлено о переименовании Константинополя в Стамбул¹, представитель фирмы «Эйтингон Шильд», соратник Соломона Новогрудского и «запасной вариант» Ефима Ефимовича на случай непредвиденных обстоятельств, был схвачен турецкой тайной полицией. Произошло это в переулках Галаты – старой еврейской части города, возле книжного магазина господина Червинского, а несколькими часами позже во втором этаже гостиницы «Ханифе», в которой Ефим Ефимович (можно просто – Ефим или Ефимыч) остановился по наводке все того же Соломона, повесился некий молодой англичанин – тихий двойник принца Георга.

Синематическая внешность островитянина, его пристальные взгляды, ленивый басок и излишняя церемонность, напоминавшая здесь, на Востоке, натянутый собачий поводок, – вот то небольшое, что удалось спасти от забвения некоторым проникательным жильцам гостиницы. Впрочем, не только это. В памяти Ефима в дополнение к тому всплывали еще и частые щелчки массивного портсигара.

К самому Ефиму, кутившему в Стамбуле не меньше незадачливого англичанина, Меркурий, похоже, был более благосклонен: спал он таким безмятежным дачным сном, что не слышал даже, как шуршала всю ночь крыльями полиция, точно залетевшая в коридор гостиницы птица.

«Сон мой был столь крепок, что я пропустил даже азан – заунывное пение муэдзина, из-за которого просыпался с рассветом в предыдущие дни, – мечеть располагалась прямо напротив моего окна. Встань с кровати, распахни занавесь – и вот он, минарет, правда, всего лишь до середины, но если открыть окно пошире, вывалиться до пупа и задрать голову вверх, можно увидеть, как муэдзин кричит с шарафа, узенького кругового балкончика, что-то свое длинное-предлинное, повязывающее узлом вечности единоверцев».

А вчера утром Ефим, воспользовавшись благорасположенностью своего бога – бога изворотливости, выпил стакан кипяченой воды из графина, что стоял на прикроватной тумбочке, максимально честно сделал «четырёх дервишей», без которых уже много лет не мог зарядиться на полноценный день, после чего, совершенно не чувствуя боли старых ран, принял ванну и докрасна растерся полотенцем.

Что еще?

Еще он успел до девяти побриться у фарфорового рукомойника, не теряя надежды обнаружить в парике хотя бы один поседевший волос, аккуратно расчесать его, без обычных чертыханий повязать галстук грубым канадским узлом и найти в чемодане куда-то запропастившиеся запонки, подаренные ему Родионом Аркадьевичем в память о вступлении в ложу.

Что еще?

Еще он успел поесть пышный омлет, начиненный крупной дробью зеленого горошка, в ресторанчике гостиницы и выпить маслянистый кофе на углу у бойкого ящеричного вида старика, торговца восточными сладостями и гашишем.

¹ 28 марта 1930 года по указу Мустафы Кемаля Ататюрка Константинополь был переименован в Стамбул.

Едва «Регент» Ефимыча отбил девять, он уже стоял на причале, любясь безмятежной синевой Мраморного моря и прилежно растянувшимся противоположным берегом, напоминавшим вчерашний Константинополь.

А через четверть часа всходил по трапу на низкое суденышко, предварительно убедившись, что именно оно через пару минут отчалит к Принцевым островам.

В Константинополь он прибыл за неделю до переименования города, и, хотя о прибытии его Старику – плотогону из давнишних снов Ефима – доложили, письмо от него со словами: «Буду рад принять Вас на нашем острове завтра в первой половине дня», Ефим получил за сутки до того, как повесился англичанин.

«Я поднимался к себе на третий после встречи со Стариком, когда заметил чуть ли не весь персонал гостиницы, столпившийся возле официально распахнутой двери во главе с администратором».

– Я забыл... я вернулся... я только дверь открыл... – говорил что-то вроде этого, показывая на медную табличку с номером, мальчик – чистильщик обуви.

Не сразу стряхнув оцепенение, всегда медоточивый администратор бросил после сбивчивых слов мальчика что-то резкое. Ефим понял так: велел, чтобы все быстро расходились. После чего, играя янтарными четками, понес свои сто колышущихся килограммов вниз на первый этаж, по всей видимости, дожидаться полиции.

Англичанин готовился к встрече с полицией иначе – висел на крюке под перекошенной люстрой над столом и упавшим стулом так, будто вытек весь до последней жилы из своего благородного, в алебастровой присыпке твида. Непонятно было, каким образом держались еще на нем горевшие черным остроносые «честеры». Под рассеченной бровью англичанина красовался боксерский синяк довольно больших размеров. А вокруг стола все было оплевано. Причем с такой показательной частотой, что нетрудно было усмотреть в этом следы какого-то обряда.

«Плевки оттого еще так по-первобытному смотрелись, что пол был навощен до того блеска, который присущ более дворцам и музеям, нежели трехэтажным гостиницам с сомнительной репутацией».

В овальном зеркале приоткрытой створки шифоньера отражалась венская горка, в стекле которой, в свою очередь, отражался кусочек английского твида цвета серого неба. Не сохранилось в зеркале только отражение того, кого должна была искать турецкая полиция.

«Окинув взглядом место преступления, я почему-то подумал о том, кому был нужен этот церемонный королевский проводчик. А еще о том, что вполне мог столкнуться с убийцей в холле, как перед поездкой на острова, так и после, то есть – когда убийство было совершено. Не понимал я только одного – к чему было убийце метить место преступления верблужьими плевками? Впрочем, восточный люд разве поймешь. Может, таким образом он объявлял о своем решительном разрыве с заблудившейся Европой, а может, выказывал свое отношение к англичанину?»

Поднявшись к себе, Ефим обошел номер, заглянул за занавеси, как делал это в детстве перед сном, показывая младшему братцу, что за тяжелой тканью никого. Выглянул в окно – полиция еще допрашивала свидетелей, а у входа стояло несколько полицейских авто.

Лег на кровать. Раскинул руки. Уставился в потолок, будто там шла фильма с его участием.

Вот он проходится по палубе «Бабелона», так называлось пришвартованное судно, разглядывает исподтишка гомонивших пассажиров: «Ни одного примелькавшегося лица, все вроде как «чисто» на этом пароходике, ну разве что какие-то две дамы в чадрах стоят на корме и лялякают о чем-то своем, многодетном, вернее одна из них, толстая, лялякает, а другая,

высокая, не обделенная привлекательными формами, невнимательно слушает подругу-болтунью – похоже, ее куда больше занимает левый берег».

А что глаза у обеих дам чрезмерно распахнуты, так это может быть чисто его ощущением.

«Когда видишь одни глаза, а о лице лишь догадываешься, кажется, в них, в этих глазах, сосредоточен весь мир».

Ефим это хорошо знал по врачам, скрывающим от пациентов свои лица марлевыми повязками.

«Я по глазам врача, когда лица не вижу, все могу определить. И это все на больничной койке другую цену имеет. Многим гражданским кажется, война – это либо выжил, либо погиб. Походили бы по госпиталям, посмотрели бы на оставшийся в живых фарш, послушали бы ночные завывания».

Может, из-за этих криков, которые даже морфин не брал, он и не пошел по армейской стезе, посчитав бумагомарание во всех смыслах делом более почетным.

«А от Гражданской и советско-польской все, что осталось у меня на память, – это сплошные разочарования в жизни, посеченный картечью живот и мой дружок «браунинг» калибра 7.65 с двумя полными обоймами. Деликатный, для сугубо личных нужд. Уж он-то точно не станет человека в куски рвать».

Чайки.

Чайки сопровождали «Бабелон». По пять-семь то по одному борту, то по другому, и столько же за кормой. Пассажиры с энтузиазмом кормили их чем придется.

Крикливые, длиннокрылые, одноглазые сбоку при полете, они выхватывали еду прямо из их рук, а затем дрались из-за нее в море.

А если еда их более не интересовала, они требовали мзду прожитыми веками и невысказанными словами. Недосмотренными снами. Было в их полете что-то под стать ветру, воде и парусу.

Давно уже остались в белом тумане Айя-София, Голубая мечеть и Галатская башня на высоком холме, а чайки все не отставали, все трудились оттененными снизу крылами. Казалось, они намерены были сопровождать «Бабелон» до самого пункта назначения.

«Какой же длинный, какой долгий Стамбул, даже для них, для этих больших и сильных птиц. Тянется вдоль левого берега, и нет ему конца. Не сравнить ни с одним другим городом».

Сколько стран Ефим повидал, пока жил под чужим именем, сколько городов объездил по заданиям газет и журналов, по делам логи. Он мысленно сравнивал их с родной Самарой или предреволюционной Москвой. И всякий раз, оказываясь то в Берлине, то в Праге, то в Риме, спрашивал себя: хотел бы бросить тут якорь? Но все эти города казались ему кладбищами якорей. Что им было до еще одного...

Несколько промежуточных остановок на материке. Одни сходили, другие поднимались на борт. Новые пассажиры смешивались со старыми, и вскоре те две женщины в чадрах, что обратили на себя внимание Ефима в самом начале поездки, скрылись из виду.

Становилось ветрено. Ефим спустился вниз. Сел на скамейку у иллюминатора.

Вглядываясь в синь моря, рыбацкие суденышки, плывущие в сторону родины облачка, Ефим повторял про себя то, что должен был сказать Старику.

Больше всего ему хотелось поскорее отделаться от цитирований донесений, писем, телефонных разговоров, касавшихся окружения Чопура. Он не мог не понимать, что за одни только эти имена и правду, стоявшую за ними, его могли... Он не думал об этом. Разве станет автомобильный гонщик думать о том, что с ним случится, если его авто влетит в какое-нибудь дерево на скорости сорок миль в час? Он думал о том, как же легко ему станет, когда он освободится от возложенного на него груза. Скажет себе самому: «Я сделал все, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше».

Он оглянулся по сторонам – все в основном толпились внизу. На палубе было холодно. Ветер на воде – не то что меж улочек в городе.

Где-то часа через полтора, может, час с небольшим, «Бабелон», аккуратно переваливая через довольно приличные волны, добрался до первых островов. Снова несколько промежуточных остановок, после чего судно бочком причалило к Хейбелиаде. Еще несколько минут, и вот она, цель – самый большой из девяти Принцевых островов.

Что говорить, Бююкады был прекрасен и вполне оправдывал свое название – Большой остров.

Холмы его поросли невысокими средиземноморскими соснами и елями, живописные виллы крутых греко-еврейских магнатов и небольшие домишки с пологими крышами красного цвета спускались прямо к медленной бирюзово-топазовой воде, на которой устало покачивались лодки, к тихим, словно заговоренным кем-то невидимым, заливчикам. В прогалах зелени, то на одном ярусе, то на другом, виднелись пунктиры выбеленного солнечными лучами серпантина, от одного вида которого шла кругом голова. Два-три раскаленных добела отеля, расположенных на первой линии, выбивались из пейзажа своей материковой основательностью, но сильно картины не портили. За их стенами угадывалась сладкая жизнь, влечение к которой испытываешь тем острее, чем дальше оказываешься от родных мест и заветов предков.

Все вокруг как будто застыло во времени, и само время казалось застывшим.

«Так неохота было отводить взгляд от серо-дымчатой косы. Белого маяка с красной шапочкой. Дремлющего на причале рыжего кота с темными лапками, видно, совсем охмелевшего от рыбьего всплеска и прямых солнечных лучей. Стоял бы и стоял так, прислушиваясь к бредятине чаек. Хотя почему к бредятине, может, к преданию веков?»

Подле пристани у Ефима по сторонам глянуть времени не было – мигом оказался в фэзтоне с двумя молодыми дюжими парнями из охраны Старика, даже не пытавшимися с ним заговорить. Успел только сказать им на причале три кодовых слова на русском, разделенных двумя четырехзначными цифрами, после чего представиться и пожать руки. (И то и другое носило чисто формальный характер и оттого сразу показалось лишним.)

Только в какой-то момент один из парней, тот, что сидел лицом к нему и спиной к вознице, все же спросил его: были ли вон те две женщины в чадрах, что сейчас едут за их фэзтоном, на «Бабелоне»? Ефим ответил ему, что обе дамы на судне были и что сели они в Стамбуле. Но это обстоятельство, как и то, что одна из них странно подсасывала ртом воздух за чадрую – от ветра чадра прилипала к ее рту – напрочь вылетело из головы Ефима, едва он увидел Красного демона революции.

Глава первая

Мара

Белое солнце с колониальным шиком заливало белый Губернаторский дворец. (Бывший Губернаторский, разумеется.) Запыленные деревья трепетали и кланялись низко, нигде так не напоминая людей, как здесь – в Баку.

А ветер – как Мара обещала: «Нарвешься на Хазара – берегись!»

Ладно, облака рвутся в клочья – к тому привыкшие, но птицы – как они его выдерживают?! Вон тех голубей, что по небу раскидало, кто выпустил? Дикие, что ли? Как Хазар не подбил их до сих пор в полете?

Люди, облепляемые порывами ветра до последнего кусочка одежды, то вверх неслись, то вниз, то, едва поспевая за собственными ногами, будто поднимались над землю, замирали на миг, что те готовые умереть в небе голуби, и опускались мимо тротуара, едва не попадая под колеса авто и фаэтонов, которые всяко материли их – и ржанием, и клаксонами, и свирепыми мстительными голосами.

А одна женщина в чадре, перешагнув угол дома, вдруг встала намертво, точно перед стеной. Ветер треплет, раздувает ее чадру. Вот-вот и сорвет. Пока Хазар-ветер не помял женщину хорошенько спереди и сзади, не разрешил ей идти. И только отпустил несчастную, как вырвал из общего числа несущихся, остановившихся и летящих другого, никому не известного человека. Не на шутку схватился с ним: расштал выданный виды чемодан в его руке, вскинул футляр с трофейной печатной машинкой, а после подбросил и его самого. Затем аккуратно поставил на ноги, как выздоравливающего, и тут же погнал на нежных хазарских рессорах до самого Губернаторского парка. Того гляди сорвет с головы парик – несись потом по волнам горячего воздуха, стелющегося над асфальтом, то ли за париком, то ли за Хазаром.

Мара, конечно, рассказывала ему о беспощадном, выжигающем все вокруг солнце, о бешеных ветрах, в особенности на углах и пересечениях: «Бакинские пейзажи без ветра не имеют энергии», но одно дело, когда тебя предупреждает бывшая гражданская жена – нынешняя Гражданская война, и другое – когда ты уже в раскаленной, воющей трубами судного дня печи знойного бакинского дня.

Однако стоило неизвестному пройти долгим парком насквозь и оказаться за древней стеной во Внутреннем городе, который Мара называла по-здешнему – Ичери-Шехер, как сразу куда-то подевались и ветер, и жара, и адский гул в ушах.

Тихие и узкие улицы напоминали запутанный лабиринт. Было бы проще в этих «крепостных» краях найти Минотавра, нежели Замковую площадь. Проще было бы спросить о ее местонахождении какого-нибудь доблестного кота, или чей-то голос за камнем, или подранный чарыг, прикорнувший у стоптанного порога. Было бы проще, если бы он не чувствовал себя замурованным в узеньких улочках.

Изрядно поплутав (не без того, конечно), неизвестный вышел на Замковую площадь, которая никакой площадью не была, но лишь пятачком в виде замка со старой чинарой в центре. Нашел он вскоре и дом, в котором Мара через бакинскую подругу «в кратчайшие сроки зарезервировала» для него «роскошную» комнату: «Дансинг с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь...»

«Конечно, заботишься, я ведь не забыл, как ты сказала, когда уходила, что не хочешь раскаиваться, а поэтому не сделаешь ничего такого, после чего нельзя было бы вернуться».

Человек поставил чемодан на черную брусчатку с жирным пятном возле стены дома. Огляделся. Легонько надавил на обшарпанную, узенькую, под стать тянувшейся вниз к морю

улице, дверь, за которой оказался маленький пыльный дворик, полный чужих секретов и незнакомых запахов.

Десять шагов в одну сторону, десять в другую – расстрельная дистанция.

Горбатые, кое-где вздыбленные плиты под ногами. Почерневшая тандырная печь. Небезопасная деревянная лестница, на которой обменивались снами разномастные кошки, готовые расстаться с жизнью в том случае, если кто-то их потревожит, вела к входу в галерею, тянувшуюся по всему периметру двора.

Латунный кран, из которого набегала в лохань вода для стирки, напомнил ему о жажде; галереи с маленькими тусклыми оконцами посоветовали быть крайне осторожным: мир прозрачен, утаить что-либо невозможно, а бельевые веревки, провисшие под тяжестью сырых под одеяльников, намекнули, что судеб легких не бывает в принципе.

Все в этом дворике, включая запахи смолы, керосина и кошек, графин с глубоководной долькой лимона, ожерелье из бельевых прищепок на гвозде, вбитом в один из растрескавшихся столбов, подпирающих галерею, говорило о том Востоке, который ничего не слышал о Западе.

Сухая маленькая старуха, сидя на низеньком табурете с широко расставленными костлявыми ногами, сбивала шерсть палкой-тростью. И, кажется, делала она это давно. Несколько веков.

– Ты кто? – обратилась к человеку с чемоданом и австрийской печатной машинкой в руках.

Он хотел сказать ей: «Салам», как учила его Мара, но вместо того лишь кивнул головой и поправил парик.

Старуха посмотрела на него тем удивленным взглядом, каким ночная улица разглядывает единственного пешехода.

Он удовлетворил ее любопытство отчасти: за сотню прожитых лет старуха так и не выучилась говорить по-русски. Тем не менее что-то из того, что он ей сказал, она поняла, иначе не позвала бы хозяина. (А может, в роли толмача выступил его чемодан с наклейками, сорвать которые в целях безопасности так и не удалось, или печатная машинка в черном футляре с полустертой надписью золотом – Kappell.)

– Керим, Керим, ай, Ке-р-р-им!.. – Старуха, отложив в сторону трость, уставилась в открытое окно на втором этаже.

В ответ – поскрипывающая и потрескивающая тишина.

Керим не особо спешил.

Взгляд из-под кепки такой, будто его только что оторвали от домашней бухгалтерии. Глаза непроницаемые, с какими-то красноватыми отблесками.

– Ефим? От Мары? – Вышел на веранду, заметно прихрамывая. – Ай, дорогой, поднимайся сюда, да... Зачем стоишь, э? Давай, давай, давно тебе ждали. Наверное, свою дорогу с чужой спутал. – И тут же тебе и дерг, и хлоп, и клоунское ковыляние навстречу – все Керим сделал, чтобы показать, какой чести удостоен и радости преисполнен.

А старуха:

– Ефим-Мифим, – затащила вновь прибывшего в свое дремучее, коричневатое-желтое от хны и никотина царство, пригубила провалившимся ртом остатки чая из стакана грушевидной формы и давай от всей своей легковесной души колотить по шерсти, прошивать грубой нитью воздух – «шью-шью-шью»...

Он поднялся по той самой скрипучей лестнице, облюбованной кошками, стараясь не задеть ни одну из них, сначала на второй этаж – один, а на третий – уже с Керимом.

«Обычно так хромают те, у кого в ноге полно плавающих осколков, – почему-то подумал Ефим, – интересно, на какой войне побывал Керим?»

На площадке третьего этажа они повстречались с толстым человеком в такой же, как у Керима, плоской кепке, только ткань была «ёлочка». Керим поклонился толстяку с вроде обычной восточной биографией так, как если бы он был шейхом.

В ответ толстяк-шейх плюнул себе под кремовые туфли с лакированными коричневыми вставками на носках. Он прошел мимо Ефима, задев коленом футляр с печатной машинкой.

– Можно было бы и извиниться. – Ефим проводил толстяка взглядом, а потом добавил: – Наверное, ему не следовало жениться. Взял в жены иноверку и годами ругается с ней на чужом языке. А это сильно изматывает.

– Не обращай внимания, ага, – Керим направил свою палочку для ходьбы на спускающегося по лестнице толстяка, сделал: – Кх-х-х...

– Квартирант, что ли? – Керим не ответил Ефиму. – А ведет себя как пузатый безобразный бог.

Пузатый безобразный бог в кремовых штиблетах шуганул кошек на лестнице, мимо которых так осторожно прошел Ефимыч, что-то бросил небрежно старухе и вышел со двора.

Только после того, как он скрылся, Керим достал ключ из кармана широченных, не знакомых с утюгом брюк, вставил его в узкую дверь, провернул дважды, но открывать не стал, предоставив это право квартиранту.

А тот, прежде чем толкнуть дверь, сказал еле слышно:

– По воле тех, кто правит миром.

Керим бормотания Ефима принял на свой счет, заметил осторожно:

– Только туалет внизу будет, ага, а ванна, который у вас в Москве душ называется, у меня во втором этаже стоит, – и задумчиво почесал голову через плоскую кепку длинным отполированным ногтем, украшавшим мизинец.

Обсудив сроки оплаты жилья и немаловажный вопрос столования, человек в парике закрыл за Керимом дверь. И только щелкнул с заминкой замок, как Ефиму сразу же захотелось сделать какое-то дикое африканское движение, с помощью которого он мог бы отсечь то, что тяготило его последнее время.

Ефим дал Кериму возможность хорошенько изучить себя через замочную скважину, после чего, улыбнувшись, подошел к столу, процитировал любимого негритянского поэта: *«И когда пыль сядет на все вещи в моей комнате и мне надоест ее сметать, я разорву сердце, как бомбу, и куплю на вокзале билет»*, – после чего, точно шаман перед вверенным ему свыше племенем, одним движением рванул со стола скатерть.

– Вах!.. – послышалось за дверью.

Кроме настенного календаря, на скатерти не лежало ничего. Подняв упавший на пол календарь, Ефим подумал, что на столе тот, вероятно, оказался неслучайно. О восточной хитрости Мара его тоже предупреждала.

«Наверняка Керим положил календарь специально, – подумал он, – чтобы я запомнил, когда въехал и впредь не забывал о сроках оплаты».

Ефимыч оторвал календарный листок, скомкал, подошел к двери и забил замочную скважину одним жарким майским днем 1936 года.

– Чтобы не подглядывал! – бросил через дверь.

Керим оказался не без юмора: удаляясь от ослепшей двери в кривую припрыжку, запел тенорком, прищелкивая в ритм пальцами: «На одном ветку попугаю сидит, на другом ветку ему маму сидит. Она ему лубит, она ему мат, она ему хочет немного обнимат!»

У разжившегося деньгами Керима настроение было явно приподнятым. Чего нельзя было сказать о новом жилье.

Ефим толком даже не рассмотрел комнату. Со словами «талантливый народец, с таким за полгода национальный кинематограф можно поднять», подошел к рукомойнику, над которым

висело зеркало с радужным отколом в углу. Разглядывая в зеркале отросшую щетину, подумал: «Теперь я точно один». Оголил лоб, сдвинув парик на затылок. «Ну здравствуй, Фимка, он же Войцех! В этих ветреных жарких краях ты еще не бывал. Порадуйся случаю».

На вид нуждающемуся в парике Ефиму Ефимовичу Милькину можно было дать не больше тридцати – тридцати двух лет. По крайней мере, зеркало против такого предположения не возражало, однако дальше гадать заупрямилось и больше того, что он – человек рискованный, рассказать не пожелало. Но это и так было понятно. Как было понятно и то, почему именно такие «рисковые люди» исчезают сейчас в первую очередь. В особенности те из них, у кого за плечами армейское или эмигрантское прошлое.

Ефим достал КарреII из футляра, бережно поставил машинку на стол. Снял широкоплечий и сутуловатый пиджак, который сегодня в этом городе оказался полезен разве что своими карманами, аккуратно повесил на спинку стула и, довольный, вышел на балкон.

Если бы не минарет рядом, который с криком облетали чайки, если бы не низенькие дома с плоскими черными крышами, прижатые вплотную друг к другу («так вот, оказывается, почему ветер здесь не гуляет»), море вдаль в белых солнечных бляшках и, главное, – почерневшая от времени Девичья башня с зикуратским цилиндром сбоку, если бы не весь этот Восток, воскликнул бы в душе: «Аркадия, просто Аркадия!..»

Вдруг очень захотелось курить. А еще – выпить кофе. Маслянистого, турецкого. Ну хорошо, если кофе нет – бурого чая, такого же, какой подают в Стамбуле в чайхане на рынке, что неподалеку от мечети Фатих. Чая вприкуску с рахат-лукумом, сухим инжиром или с изюмом. Какой он пил еще до того, как отправиться на Принцевы острова. Но сначала – курить!

Ефим вернулся в комнату.

Достал из бокового кармана пиджака кожаный портсигар. Вытащил папиросу. Подержал вертикально, прокатил по портсигару, продул и закурил. Прихватив с собою вместительную пепельницу, которую его дядя, большой партийный деятель и мастер стряхивать пепел на карту всей страны, непременно называл бы «шлимазальницей», снова вышел на балкон.

Самыми устойчивыми зданиями отсюда казались мечети. Тянувшиеся вверх минареты отличались от стамбульских. В Стамбуле они были похожи на стрелы, нацеленные в небо, а здесь – на маяки. Здесь – бухта серповидная, а там ровно тянулась до Принцевых островов. Море у турок какое-то византийское, темно-синее, с благородным перекатом волн, а у азерийцев – языческое, давно нечесанное, словно шерсть волкодава, в которой запутались мелкие суденышки и серые военные корабли. Только кошки были такие же, как в Стамбуле, – непоколебимые в своей кошачьей правоте. Прежде чем решить какой-то сложный уличный вопрос, они объединялись в партии.

«Похоже, Баку такой же город кошек, как и Стамбул. Что ж, оно и правильно, никто так, как кошки, не дает тебе понять, что глупо думать, будто это ты изобретаешь время и место встреч. Ты еще ждешь аплодисментов за очередное свое прозрение, а кошка уже популярно объясняет тебе, что с тобой случилось то, что случается со всеми во все времена».

Больше двух суток в поезде отдавали нестерпимой болью в животе. Когда он подолгу сидел или лежал, можно было сосчитать все его старые раны. Именно поэтому Ефима нельзя было удержать дома. Он говорил, шутя, Маре, что даже пишет на ходу.

Мара!..

Как нежно ходила она двумя своими человеко-пальчиками по его польским шрамам в самом начале их романа: «Один Фим, два Фима, три Ефим-Ефима...», и вот он уже ловил себя на том, что засыпает. Он всегда считал, что мужчина в постели с женщиной должен заслужить право на сон. Что женщина должна уснуть первой и проснуться второй. Но с Маргаритой все было иначе – граница между сном и явью оставалась неуловимой даже тогда, когда она ночевала вне дома.

Как там она писала: «Я намерена говорить с тобой так, как пристало говорить с мужчиной и с человеком, с которым я прожила пять лет. Тема нашего разговора настолько серьезна, что припудривать и присахаривать его я сочла бы ханжеством и трусостью, унизившей бы и тебя, и меня».

Вот в этой чеканке слов уже вся Маргарита Александровна...

«Господи, Мара, Мара, как же с тобой тяжело, а без тебя еще тяжелей».

– Керим! – крикнул он вниз, ловя себя на том, что уже обращается к нему как к ординарцу.

– Керим! Ай, Керим! – отозвалась эхом старуха.

– Ага, что надо тебе? – высунулся снизу Керим, из того самого окна, в котором мелькнул при первой встрече, когда Ефим подумал, что тот растворился в вечности.

– А чаю можешь мне дать?

– Почему нет.

И шею так изогнул, что Ефиму за него страшно стало.

– Почему, не знаю. – Ефимыч уловил из окна стелющийся сладковатый запах шмали: «Вот же, каналья одноногая». – С изюмом можешь?

– Почему нет.

Заладил, бестия.

«Вечно мне везет на этих шашлычных людей».

Когда Керим принес небольшой чайник и грушевидной формы стаканчик на щербатом блюде, Ефим, дабы как-то поддержать разговор, спросил его:

– Что есть, Керим, в вашем городе интересного посмотреть?

– В нашем городе все есть интересное посмотреть. – Сдвинул кепку на затылок, обнажил морщинистый лоб не особо мудрого морского ящера.

Ефим успел разглядеть на его левой руке запутавшийся в седых волосах якорь порохового цвета.

– Ну надо же.

– Да-а-а. – Сощуренные красные глаза ненадолго распахнулись, когда он развел худыми, в седых колечках волос руками. – Надо-надо... Смотришь много, видишь много... Женщин видишь – не подходи.

– Это почему же?

– Женщин всегда чья-то есть. Мужа есть, отца есть, брата есть... – Потянулся так, точно стоял на трех лапах.

– Ну надо же, – повторил Ефим. – А что там за остров вдалеке?

– Остров? – Керим соорудил такую гримасу, будто ему нужно было немедленно пересчитать все волны Каспия.

– Да, остров.

– На этот остров, ага, лучше не смотри. – Керим перечеркнул остров палкой для ходьбы.

– К женщинам не подходи, на остров не смотри...

– В нашем городе на этот остров никто не смотрит.

– Как же на него не смотреть, если он прямо посреди бухты?

– Ниже смотришь – море будет, выше смотришь – небо будет. Мало тебе, ага? Дела у меня. Пойду я, хорошо? – ответил Керим, побелев.

«Так вот, значит, как бледнеют обкуренные лукавцы в затрапезных майках-тельняшках».

– Сначала вынеси столик на балкон, буду пить чай и смотреть на остров.

Керим неодобрительно качнул маленькой головой в большой черной кепке, посмотрел на Ефима так, будто тот соизволил вызвать на дом палача с топором, но столик все-таки перенес.

Солнце встряхивало лучами, стреляло вспышками из-за покачивающейся старой чинары, скрывавшей от него полукруг бульварной ленты. Клубы пыли носились на разной высоте по неровному, плотно застроенному пространству.

Когда он сделал глоток чая, ему показалось, что и чай такой же пыльный, как весь этот город. Этот Баку, сидевший в нем занозой все то время, что он был влюблен в Мару.

Казалось, единственным, на чем не оседала пыль, было море, и то – где-то там, где-то вдалеке, на подходе к острову.

«Значит, это и есть тот самый Лысый остров, про который Мара говорила: “Сколько людей там полегло, и сколько еще ляжет”. Выходит, Чопур и сюда добрался. Хотя чего ему было до Баку добираться – он отсюда свою одиссею и начал. Это первый захваченный им город. Здесь, на Волчьих воротах и в Баиловской тюрьме, на конспиративных квартирах и в типографии “Нина”, Чопур вынес для себя главный урок: человечество – пустое слово, баранина в уксусе с колечками лука. Ему нужно только то, что соберет человечество в стадо, – далекая пастбищная греза. А от тех, кто не поверит в зеленую траву, растущую где-то там, на чужих холмах, не пожелает стать сочной бараниной, следует избавляться – расстреливать на островах. Их много, островов, на всех хватит, кто свое «нет» посмеет сказать. А если вдруг не будет хватать, можно искусственные острова создать – в тайге, например, или в пустыне, все равно из чувства страха большинство предпочтет про эти острова не знать.

Ефим смотрел на тоненькую синюю полоску земли, за которой открывалось настоящее море. И греза у него была своя, не Чопуром составленная, а большими городами, в которых он побывал.

Ефим спросил себя, мог ли он оказаться в родном городе Маргариты раньше Вены, Ниццы, Парижа, Стамбула. Подумав, решил, что нет. Он должен был пройти через то, что прошел, увидеть то, что увидел, прежде чем дядя Натан через Соломона Новогрудского помог ему вернуться в СССР.

Переход советско-польской границы неподалеку от места, которому он был обязан поворотом в своей судьбе, стал концом одной эры и началом другой. Сколько раз спрашивал он себя впоследствии, зачем вернулся, и всегда отвечал по-разному.

Наиболее правдивым ему самому казался тот ответ, что сильнее прочих подталкивал в спину: «Мы никому там не нужны».

«А здесь? Кому ты нужен здесь, черт лохматый тебя подери? Чопуровской расстрельной команде?»

Он смотрел на остров посреди Каспия, и у него не возникало никакого желания вести счет бесчисленным преступлениям Чопура, чтобы когда-нибудь вместе со всей страной предъявить их ему, после чего отправить за пределы здешнего мира в черную межзвездную пустошь Вечности. Нет, сейчас у него не было никакого желания мстить. Почему-то сегодня ему было легче отказаться от самого себя, как это делали многие перед тем, как их заглывал Чопур. Впрочем, после второй папиросы и второго стакана крепчайшего чая с чабрецом он счел это свое душевное состояние временным, вызванным отчасти усталостью, отчасти – болью старых ран. Ему, бежавшему теперь уже из Москвы – после того как взяли дядю Натана, разумнее было бы не думать о Чопуре, вообще не думать пока о том, что происходит сейчас в стране. По крайней мере, в Баку – городе, который он выбрал для своего временного исчезновения.

О чем же разумнее было подумать? Возможно, о том, что для души полезнее то, что ближе сердцу.

И снова он вспомнил о Маре, и в памяти снова всплыло ее письмо – одно из последних в их столичной переписке, с помощью которой они водили за нос чопуровских ищеек. Иногда в этих письмах проскальзывало что-то очень личное и трогательное, понятное лишь им самим.

Маргарита писала, что не умывается уже пятый день – «нельзя же называть умыванием помазок по лицу и рукам», – что раковина коммунальная, в коммунальном проходе перед ком-

мунальной уборной, – «раздеться и думать нечего», – а в комнате нельзя, так как все вещи уложены и нельзя возиться с тяжестями – доставать таз. Нельзя, нельзя, нельзя... «Мой чемодан у тебя, а там мое белье. Надо поехать к тебе на Фурманный и перевезти его сюда. Но перевезти – это значит молчаливо вселиться к людям, которые из деликатности не будут протестовать».

И что он мог на все это ответить, что она по-прежнему непоправимо близкий ему человек? Что Баку большой город, и люди здесь не ходят на вокзал, чтобы погулять, как это делают в провинциальных каштановых городках?

«...Так она это и сама знает не хуже меня, как и то, что *“мухи выются у окна потому, что им улететь хочется”*».

«Регент» побил час. Пора было принять ванну, «которая в Москве душ называется».

«Ровно в три я должен явиться на «Азерфильм». Мара уверяла меня, что отсюда до кинофабрики чуть более получаса пешком, если, конечно, правильно выйти из Крепости. Но у Мары такие сложные взаимоотношения со временем – сколько ее знаю, всегда она опаздывает на эти самые полчаса. Когда мы жили вместе, я даже пробовал переводить стрелки домашних часов на двадцать-тридцать минут вперед, – все напрасно».

Он думал выйти с запасом – все-таки будет ждать женщина, красивая женщина, актриса, а ждать пришлось ему.

Ефим то и дело доставал из кармана часы, а когда понял, что Фатима, подруга Мары, по всей вероятности, уже не придет, отправился на встречу с киночиновником сам.

Теперь вся надежда была исключительно на рекомендательное письмо. Но насколько верный тон был взят Марой для этого письма? Не вскрывать же его.

Самое интересное, что в азербайджанский Голливуд он проник без каких-либо сложностей и долгих объяснений.

«Просто прошел вертушку, назвал свою фамилию вахтеру, сказал, что меня ждут. Кто? Семен Израилевич... Израфил».

Израфил – такое прозвище когда-то придумала ему Мара. Вахтер даже не справился по служебному телефону, чтобы проверить. А еще говорят, что в этой стране кинематограф охраняется почище, чем секретные заводы и шлюзы.

Кабинет заместителя директора Ефим нашел сравнительно быстро. А вот перед кабинетом застрял. Посидел, наверное, с четверть часа, прежде чем строгая секретарша в такой зауженной юбке, что лучше бы ей не поворачиваться к мужчинам спиной, запустила его к Семену Израилевичу.

Когда Ефимыч зашел в кабинет, Семен Израилевич поливал цветы на подоконнике. Делал он это довольно-таки странным способом, а именно – окунал тряпочку в миску, после чего аккуратно выжимал ее над цветами.

Вот так вот, до последней капельки, аж кулачки забелели. Бедная вода!

«Неужели все то время, что я ждал, Израфил проливал дожди над своими джунглями?» – подумал Ефим, поздоровавшись.

Семен Израилевич удивил его еще и тем, что был точной копией товарища Луначарского – такая же большая голова, такой же лоб с залысинами, пенсне на носу, борода клинышком. По-видимому, их выпиливали и вытачивали в одной партийной мастерской.

– Присаживайтесь, – разрешил Ефиму Израфил, предварительно романтично попрощавшись с расцветшей фиалкой и вытерев обе руки о другую, на сей раз уже сухую, тряпочку. – Слушаю вас, товарищ Милькин.

– Я от Мары, – сказал Ефимыч.

– Так... – Израфил опустил засученные рукава белой рубашки и застегнул манжеты. – Еще раз...

– Я от Маргариты Александровны Барской, – повторил как можно медленнее Ефим.

– Барской?! – пробасил «Луначарский», побарабанил пальцами по растекшемуся бедру и надолго задумался.

– Ничего такого, – попробовал пошутить Ефим, – просто еврейская фамилия. Знаете ли, с евреями такое случается...

– С евреями и не такое случается. – Семен Израилевич хитро улыбнулся. Настоящая фамилия Семена Израилевича была Соловейчик и располагала к шуткам разного свойства не меньше. Он откинулся на спинку стула и соединил подушечками пальцы обеих рук. – Дальше. Слушаю...

– Мы с Фатимой Таировой собирались к вам вместе зайти, но она почему-то не пришла.

Как только он это сказал, ему показалось, что плечи Семена Израилевича слегка обмякли и просели. Он глянул сначала на дверь, за которой находилась крутобедрая секретарша, потом с тоской на коробку «Явы», лежавшую поверх стопки с папками. Потянулся к ней. Передумал. Снова потянулся, на сей раз как-то очень по-патрициански, будто древнеримская аристократия предпочитала курить папиросы «Ява» и никакие другие.

– В этом городе все так быстро меняется, – торопливо нарисовал Ефимычу петлю спичкой. До Ефима мгновенно долетел запах серы.

– Если бы еще знать, в какую сторону. – Он протянул Семену Израилевичу письмо.

– С тех пор как Хавка надкусила райское яблоко, и спрашивать нечего – вопрос риторический.

Израфил вскрыл письмо бронзовым канцелярским ножом с навершием в виде какой-то египетской богини, поднявшей руки тыльной стороной ладоней вверх. Сделал: «П-ф-ф», перекатил папиросу в угол влажного семитского рта и еще раз внимательно посмотрел на дверь.

Ему нужна была эта пауза.

Прочтению письма также предшествовала прелюдия из трех осторожных взглядов на парик Ефима.

«К взглядам подобного рода я давно привык. В таких случаях мне всегда хочется сказать: да, это парик! С тех пор как я перешел советско-польскую границу, я предпочитаю жить в парике. Считайте это моей большой странностью».

Читал Семен Израилевич, то собирая, то распуская губы, то хмуря, то расправляя брови имени Луначарского. Как-то раз даже вышло у него лучисто улыбнуться в бумагу. Угадывалось в тот момент: «Ах, Мара, Мара!...» Он часто затягивался папиросой, которую держал глубоко меж изуродованных подагрой пальцев, отчего выходило у него при затяжке закрывать ладонью нижнюю часть лица.

Пока Израфил читал, Ефим посматривал на портреты Чопура и Мир Джафара Багирова², которых разделял сейчас восходивший к потолку фиолетовый фимиам.

«Кажется, оба они уже знают, что я в Баку. Знают, когда приехал, где остановился, да что там – знают даже, что я сижу сейчас в кабинете у Семена Израилевича Соловейчика».

– Как же, помню-помню я вашу Мару, – оживился неожиданно Семен Израилевич, дочитав письмо и складывая его в два раза, перед тем как положить поверх конверта.

Он будто пытался определить для себя, до какой степени может быть откровенным с Ефимом.

– Девицей еще помню. В беретике таком беленьком со стручком наверху. В белой блузке с синим галстуком. Всегда наша Барская против ветра шла... – говорил он так же быстро, как Луначарский. – Еще журнал «Кино» за прошлый год читал, ба... а там Горький с Роменом Ролланом нашей Марочке, можно сказать, в любви объясняются.

² Мир Джафар Багиров – (1885–1956) советский и азербайджанский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР (1921–1927), Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР (1932–1933).

– Было такое, – подтвердил Ефим.

– Да еще как!

Ефим еще раз подтвердил, уронив к груди подбородок.

– Пудовкин, Довженко, Шуб... А вы, простите, кем Маре будете? – хитро голову склонил, и Ефим понял, насколько это для Израфила важно.

– Я полагал, в письме об этом написано, – бросил на удачу.

– Ах да... – Кинодеятель посмотрел в сторону зарослей на подоконнике, сфокусировал взгляд на любимице-фиалке. – Верно. Простите, годы. К тому же в этом городе, знаете ли, ветра так быстро все меняют. – Снова посмотрел на обитую дерматином дверь. – Сейчас Гилавар дует, а через полчаса – накрывает Хазарский.

– Я в Баку впервые.

– Бросьте, товарищ Милькин, – и стекла пенсне киночиновника озарило Северное сияние. Через стол повеяло запахом хвои, вдалеке послышались стук топоров и падение деревьев под лай конвойных собак. – Вы ведь знаете, что я сейчас не о том с вами.

– Знаю. – Ефим сглотнул слюну. Горькую-горькую, неизвестно отчего. Хотя почему неизвестно? Еще как известно.

Ефим взглянул на прищурившегося на портрете Чопура, и тот показался ему каким-то очень кавказским, чрезмерно шашлычным, совершенно не похожим на того Чопура, изображениями которого были облеплены все районы Москвы.

Выдержав начальственную паузу, Израфил решительно нарисовал в пепельнице круг папиросой, после чего так же решительно ввинтил ее в центр круга – он все для себя решил.

– Будет вам с кем «поднимать национальный кинематограф». Есть тут у нас на прицеле один юный товарищ с тремя классами образования и соответствующими партийными убеждениями, сверху пришло указание в кратчайшие сроки сделать из него Шекспира.

– Да, это сейчас модно. – Ефим хотел показаться киночиновнику небрежным и слегка циничным. – Надеюсь, все же бригадным методом?

– Ну разумеется. Будете писать за него сценарии в компании с замечательными талантливыми людьми.

– А нельзя ли обратиться в Шекспира какую-нибудь местную юницу, сбросившую чадру?

– Товарищ Милькин, – напустил строгость во взгляде, пригрозил подагрическим пальцем, – вы не совсем хорошо представляете себе, куда приехали. Тут вам не Москва, любезный, – «ГМ-ГМ...» в кулак. – Да, кстати, а что вы уже сделали для своего, так сказать, могильного камня?

– Для своего могильного камня я недавно окончил пьесу в девяти картинах, опубликована в издательстве «Художественная литература», право первой постановки в Москве принадлежит театру ВЦСПС. Издаю сборник из семи рассказов. Сейчас пишу роман.

Израфил оживился.

– Будет чем украсить камень. Давайте поступим так, – задумался. – Сегодня у нас, кажется, пятница. В понедельник, а лучше во вторник жду вас в это же время. И учтите, в нашем городе...

– Я учту.

– Сделайте одолжение, голубчик. Марочке приветы, если будете ей телеграфировать. Рад, что не забыла старика.

Он вышел из-за стола. Ефим отметил про себя его атлетическую грудь и вялые дамские бедра. Израфил проводил Ефима до самой двери и сам же на нее надавил. Едва он это сделал, как сразу же раздался пулеметный стук печатной машинки.

– Вы, товарищ Милькин, у нас человек партийный? – спросил Израфил практически на пороге так громко, будто Ефим был туг на оба уха. – Ну вот и замечательно. В высшей степени

замечательно! И красный командир в прошлом... Прекрасно, товарищ Милькин. Просто прекрасно!

Ефим вышел из кабинета.

Секретарша – глаза опоссума, уши Багирова – встала, вытянулась во весь рост.

– До свиданья, товарищ Милькин.

«Интересно, Израфил с ней спит? Если да – это опасная игра».

Посидев в азерфильмовской курилке вместе с Генрихом IV, сосредоточившимся на чем-то своем – шекспировском, он решил, как будет действовать: домой к Фатиме не ходить, хотя Мара и снабдила его ее адресом, а отправиться сразу в театр.

«Отсюда до Бакинского рабочего театра, как уверяла меня Мара, не больше получаса ходьбы: “Если вдруг заплутаешь, спроси, как пройти к Молоканскому саду или к дому Высоцкого”».

Он вспомнил их первую встречу с Марой – шесть лет назад, в мастерской Александра Гринберга³.

На вечеринку Ефима назвал Иосиф Уткин. Опоздав на полчаса, Уткин явился к месту их встречи на Триумфальной с двумя довольно экстравагантными поклонницами в огромных шубах, одна из которых, бывшая жена большого чекиста, по дороге положила свой оловянный глаз на Ефима.

Тяжелые шубы дамы носили так, будто под ними ничего не было. «Эх, кабы не Гринберг, такое бы звуковое кино отсняли!» – улучив момент, мечтательно бросил в сторону Иосиф. Ефим предложил не ходить к Гринбергу, а поехать к нему в Фурманный переулок, в ответ Иосиф начал декламировать свое: *«Потолчем водичку в ступе, Надоест, глядишь, толочь – Потеснимся и уступим Молодым скамью и ночь»*.

Дамы тут же вскинулись, начали просить, чтобы Иосиф прочел хотя бы еще кусочек – вот у того столба или у той самой скамейки, которую он только что хотел им уступить.

Уткина долго упрашивать не надо было, через мгновение он уже стоял на скамейке: *«Много дорог, много, Столько же, сколько глаз! И от нас До бога, Как от бога До нас»*.

Когда уже после прочтения «Мотэле»⁴ компания завалилась с морозу к Гринбергу, там уже гуляли Файт с Кравченко, Тиссе, Поташинский и Александров, наконец-таки обретший во Франции давно чаемый экранный голос. Пили законную ледяную водку и привезенный Александровым из Франции бархатный арманьяк.

Бренди был на редкость деликатный, десятилетней давности, и как-то само собою вышло, что начали вспоминать лихие двадцатые, когда об арманьяке и мечтать-то никто не смел.

Гринберг вспомнил эпидемию тифа, одесские времена и Петра Чардынина⁵. Маргарита, на которую Ефим обратил внимание сразу, как только пришел к Гринбергу, она была какой-то особенной, по-женски долговечной, как статуи богинь, с такими прощаются всю жизнь с первой же встречи, высказалась в том духе, что, мол, чудесный человек Чардынин, вне всякого сомнения.

– Старый могикан, – глаза вспыхнули, обнажили давнее запретное, – умел направлять жар с влажных простыней «в наружу жизни».

³ Александр (Абрам) Данилович Гринберг (1885–1979) – классик советской фотографии, член Русского фотографического общества. Кинооператор.

⁴ Имеется в виду произведение Иосифа Уткина – «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исаяе и комиссаре Блох» (1924–1925).

⁵ Петр Чардынин (1873–1934) – русский актер и кинорежиссер эпохи немого кино. Второй муж М. А. Барской.

Только когда заговорили о фотографиях Гринберга одесской поры, Ефим понял, что Маргарита в свое время была женой Чардынина. Она вспомнила их первую с Чардыниным встречу на студии Всеукраинского фотокиноуправления:

– ...волосы густые, с сильной проседью... И голосом весь мир сдвигает вместе с тобой.

Хозяин достал несколько фотографических работ двадцатых годов. На некоторых из них Ефим с удивлением узнал Маргариту. Все немедленно принялись восхищаться гринберговскими моделями и в особенности Маргаритой: Маргаритой на фотографиях и Маргаритой с бокалом арманьяка в руке.

Кто-то – Ефим не помнил уже, кто именно – сказал, что женщины тех лет, изнеженные, томные роковые красавицы, по-настоящему сексуальны, не то что нынешние, с их стремлением к образу доисторической женщины. И тогда Маргарита услышала его красивый низкий голос. Правда, он мир не сдвигал, но ей показалось, это было делом времени.

– Разве может быть возвращение к доисторическому образу *не* сексуальным? Разве комсомолочка из Хивы, немытая, с растительностью в неположенных местах, менее сексуальна, чем героини «мирискусников»?

Уткин поинтересовался, далеко ли Хива от Москвы, и предложил выпить за нечесаную комсомолочку.

Бывшая жена большого чекиста, та самая, которой понравился Ефим, от возбуждения покрылась красными пятнами.

За гринберговских моделей незамедлительно вступился Александров:

– Право же, не стоит делать из дейнековской текстильщицы мадонну Бенуа. Во-первых, не получится, во-вторых, дорого вам встанет.

Маргарита попросила познакомить ее с Ефимом: «Кто такой? Откуда?» В отместку его представили ей как племянника «того самого Натана». Ефим был этим раздосадован, но вида не подал.

В черном парике и в серой парижской двойке, не слишком высокий, но с очень широкими плечами и глазами светло-зеленого цвета, он сразу произвел впечатление на кинодиву. И хоть Ефимыч считал, что зима не лучшее время для смены партнерш – столько всего сверху на них, что и не разберешь, та ли эта самая, которой можно передоверить себя – ушли они вместе. Под тихую уткинскую рифмовку: *«Ты люби на самом деле, Чтоб глаза мои блестели»* и мстительный взгляд бывшей жены большого чекиста.

Война, жизнь в больших и тесных городах, работа на газеты и журналы тут и там научили Ефима считать безупречным такое состояние души, когда он мог бы, оценив сложную обстановку, взять на себя ответственность за все, а взяв – на судьбу более не пенять. От такого душевного положения Ефим был пока далек. Не мог он, не кляня каждые полчаса Чопура, делать то, что полагалось в данной ситуации. Ненависть отвлекала от главного – жизни. А он хотел жить, ему нужно было жить и не абы как, нет, а полной жизнью. Потому Ефим себе сильно не нравился. И чем больше Ефим не нравился себе, тем больше нервничал и сомневался. Часто даже по пустякам. Вот и сейчас, казалось бы, идешь – ну и иди, но нет же, он все никак не мог решить, правильно ли делает, что направляется в Бакинский рабочий театр. А если говорил себе, что правильно, что другого выхода у него просто нет, тут же начинал сомневаться, в том ли направлении двигается. Он останавливал прохожих, спрашивал, где Молоканский сад. Те отвечали ему приветливо, как и положено людям, избалованным количеством солнечных дней в году: товарищ-щ, это самый короткий путь, товарищ-щ, рабочий театр ждите по вашу правую руку минут через пять-семь. И все это с неизменной товарищ-щ-еской улыбкой и искоркой, сопутствующей ей, в глазах.

За поворотом, на широкой улице, ему удалось сбросить напряжение, оглядеться по сторонам. Вскоре Ефим привычно увлекся ходом своих мыслей, шаг его стал прежним, уверен-

ным, и появилось ощущение, что он вышел из тупика. По такому случаю Ефим закурил блаженно и даже немного взгрустнул по оставленной им Москве, что незамедлительно сказалось на его отношении к Баку.

«Не знаю, хотел бы я жить в этом городе: не мой он какой-то, по мне так слишком экзотичен – во всем с перебором. Но что я о нем знаю?! Только то, чем Мара в Москве со мною делилась? Только то, что ветер здесь может запросто человека до стены разогнать или в море унести, что он солоноватый на вкус и отдает нефтью? Только то, что вижу сам? Баку не так давно брал уроки у европейских южных городов, что заметно по его молодому, однако уже успевшему благородно почернеть камню центральных улиц. «Одна из характерных черт бакинцев – обживать у себя на Востоке то, что вчера еще было модно на Западе, но они так долго обживают позаимствованное, что в какой-то момент оно становится их кровным и проявляется в городе на каждом углу», – вспомнились ему Марины слова. Он взглянул на декор под большим, застекленным в мелкую клетку балконом, на каменную вязь, на дубовые листики с прожилками, похожими на вены, на жемчужные раковины с заветной горошиной, на аккуратно вырезанные зрачки на глазах рассерженной нимфы, взявшей под контроль Ефима в соответствии с принципами нынешней власти...»

Ефиму нравилось, когда Мара говорила о бакинцах. У Мары было право на шпильку: она сама была бакинкой. Все, что она говорила о своих соотечественниках, касалось и ее самой. Ее шпильки не имели ничего общего с той мстительностью, которая так часто исходит от людей бесталанных, с гнильцой, когда они вдруг начинают вспоминать родные места, в свое время не одарившие их в полной мере вниманием. Оборачиваясь в прошлое, они смотрят на него так, будто у них что-то выкрали из кармана. Мара была другой. Совсем другой. Яркий экспериментатор во всем, она никогда не переходила черту, за которой начинается вседозволенность. Так часто слышал он от нее: «Все-таки надо быть собакой и знать свою траву». Любви, кинематограф – все случалось только на ее траве... Мара знала отмеренные ей свыше пределы, но это никогда не мешало ей быть смелой любовницей, смелой актрисой, смелым кинорежиссером. Может, из-за этой Мариной смелости он и не мог с ней порвать. «Что ж получается, она меня сильнее?!» И Ефим копил для борьбы с нею силы.

Итогом их последней схватки стала его пьеса «Строгий выговор». Нельзя сказать, что Маре она не понравилась, она была ею просто удовлетворена. Она считала ее «разгонной» в его биографии. Так и сказала ему: «Жду от тебя новых пьес и сценариев, а главное – романа...» Новый роман, вот что поможет ему навсегда разбежаться с Марой. Занять свое место в литературной элите, в кругу своих известных на всю страну друзей, которые в последнее время начали терять интерес к нему: ну журналист, ну драматург, ну что-то там пишет... Что с того? До премии имени Чопура ему еще далеко. Вот меня уже на шесть языков перевели, а тебя даже на монгольский не переводят.

Какая-то дама, напоминающая статского советника в женском обличье, с интересом взглянула на Ефима, царапнула взглядом парик и улыбнулась, смущаясь.

«Что ж я такого сделал, madame, против каких правил пошел, чем вогнал вас в легкое смущение?»

Если бы он остановился и посмотрел ей вслед, в поисках лакомого кусочка для глаз, madame бы не удивилась, именно поэтому Ефим не стал оборачиваться. Ее подозрительно мерное раскачивание бедер так и осталось для самой себя.

«Хотя я здесь совсем недолго, смог уже убедиться – бакинцы люди с секретом. Правда, ни для кого секрет сей тайны большой не составляет, прочитывается довольно легко: если я поверю в исключительность своего существования, наивно полагает рядовой бакинец, смогу и других в этом убедить, а значит, добиться для себя необходимых привилегий, что в сию же минуту облегчит и окрасит в радужные тона всю мою жизнь. Желание жителей Апшеронского полуострова жить с «охранной грамотой» почему-то оборачивается сложной судьбой с заоб-

лачным налогом, от которого те бегут в другие края, чаще всего – северные, надеясь там сотворить из своего секрета чудо. Не знаю, как у Мары с чудесами, но ее секрет “особого существования”, случалось, действовал на столицу. И не только...» Ефим вспомнил, как умела она из его плохого настроения вылепить чудесный вечер на двоих.

В еще одном ветреном переулке Ефим повстречал человека, который на мгновение показался ему знакомым. Старомодным кивком, точно на голове его сидело канотье, он поздоровался с Ефимом.

Ефим подумал, что так любезно и так осторожно могут здороваться разве что врачи-венерологи, и ответил ему буднично, как положено благополучно возвращенному в семью пациенту. Человека этого он не вспомнил даже после того, как мысленно приклеил к его лошадиному лицу седенькую бородку клинышком и вложил в руку дореволюционную трость.

«Нет-нет, не знаю я такого. Вероятно, он ошибся, обознался, а я подыграл ему на волне изменившегося настроения», – сказал себе Ефим и обернулся. Прошлого с ключиком-замочком скрылось за углом.

И снова он вспомнил о Чопуре, и снова отругал себя за то, что вспомнил: «Разве непонятно, что мое мысленное обращение к нему делает его сильнее, а меня – слабее».

Погода была прекрасной. Плывшие высоко облака чуть поторапливали время. Деревья бодрствовали вместе с легким ветром и птицами.

На Ефима налетели две чудесные комсомолочки, обе азербайджанские тюрчанки, из студенческой газеты «Новый путь», так они перевели ее название – «Ени ёл». Девушки учились на журналистов, их интересовала реакция приезжих на Баку.

«Казалось бы, только сейчас думал об этом городе, хорошо думал, глубоко, а куда все мысли подевал?!»

– Вы же приезжий? – Ефим кивнул. – Раньше слышали о нашем городе? – спросила та, что представилась Марзией.

Другая – с лету, откуда-то от высоко поднятой груди в бело-черный ситцевый горошек сфотографировала его. Даже разрешения не спросила.

Ну конечно, он о Баку слышал, у него много, очень много друзей из Баку. Бакинцы – это особая порода, он это знает, и растворяются они в других городах особым образом, не теряя след родного города. Ефим хотел сказать, что иногда это происходит за счет других городов и людей, но воздержался. Поймут ли его правильно девушки?

Фотограф перекинула фотоаппарат через голову, мелькнули темные подмышки, вспыхнул на солнечном свете опушек покато плеча, и Ефим почувствовал легкий сердечный перебой, мгновенно сменившийся грустью по чему-то неопределенному, потраченному ни на что, безвозвратно утерянному.

Что же я делаю, спрашивал он себя. Почему готов рассказать о себе все? Только потому, что они хорошенькие, что от них веет началом жизни? Я же не на войне, где предпочтительней делать больше, чем меньше, чем бы эти «больше» и «меньше» не оказались в итоге.

Что?.. Нравится ли ему архитектура Баку? О да!.. Конечно! В особенности бакинский модерн. Эти каменные нимфы с мужественным взглядом и толстой шеей, что держат под контролем улицы. Он не стал говорить, что бакинский модерн навеивает воспоминания о далеких европейских городах, в особенности часто перед глазами встает южное побережье Франции...

– А на какой город похож Баку?

Ему следовало бы сказать барышне Марзие, что Баку похож на Баку, но он сказал:

– Вероятно, вы хотели спросить, какой город напоминает мне Баку? Стамбул, как если бы Стамбул был к тому еще немножко Ниццей, Каннами и Валенсией.

Девушки засияли, похоже, им сравнение показалось удачным, хотя о Ницце, Каннах и Валенсии они представления не имели. Просто красиво звучали названия городов.

– А что, вы к нам надолго? – спросила фотограф, миловидная, но, видно, верблюжья колючка в душе.

– На то надеюсь.

– А чем будете здесь заниматься? – Марзия придала своему лицу напускную серьезность, которая ей не шла. Девушка была создана для материнства без чадры, а не для ученой кафедры.

– Местным кинематографом.

– Вы кинорежиссер?! – Девчонки чуть не воспарили над асфальтом.

– Всего лишь драматург.

В конце своего блиц-интервью они еще раз спросили, как его зовут. Он мог бы назваться любым именем, но он этого не сделал. Слишком долго был Войцехом. Слишком хорошо знал, как заемное имя перепахивает судьбу.

Как только девушки попрощались, довольные уловом, он вернулся мыслями к Маре, к ее природной смелости, к ее отваге, которую она сама в себе не замечала, но которая бросалась в глаза всем.

Ему показалось, что девчонки из газеты «Ени ёл» были Марой подсланы: «Она оттуда, из Москвы, все видит, всем руководит, как на съемочной площадке».

Из одной улицы Ефим влился в другую – темную, каштановую, с горячим порывом ветра, по которой тоже наверняка когда-то цокали Марины каблучки. Ефим мысленно перенесся к началу их романа, ища в прошлом ответы на сегодняшние вопросы, и так увлекся образами прошлого, что чуть не угодил под фаэтон, чем заслужил обидный окрик старого возницы. Тот даже руки над лошадьми к небу воздел, седобородый лихач в каракулевой папахе. А тут еще нетерпеливый «ГАЗик» начал подталкивать его сигналом в печень, так что Ефиму ничего не оставалось, как быстро-быстро перебежать на другую сторону, под защиту двух каменных львов у подъезда небольшого дома с «фонариком» эпохи нефтяного бума.

«Смелость?.. Да, наверняка, из-за нее я и не могу никак расстаться с Марой. Хотя при чем тут смелость? Вот из-за чего ты спать не можешь, вспоминая ее всю, – это и есть та самая правда, которой ты бежишь, не осознавая того».

Все последующие после знакомства дни Ефим открыто ухаживал за Маргаритой. А уже через неделю явился к ней с двумя чемоданами и с двумя Новогрудскими – старшим Соломоном и младшим Герцелем, – сообщив зачем-то, что его печатная машинка в закладе и ее нужно немедленно спасать, потому что он, совместно с третьим Новогрудским – Шурой⁶, будет писать сценарий к фильму «Измена».

Из трех Новогрудских Маргарита сдружилась с двумя – покладистым Герликом и вундеркиндом Шурой. А вот Соломон ей активно не нравился.

– По-моему, страшный человек, наверняка чекист, – поделилась она своим впечатлением с Ефимом.

– Не страшнее, чем я, будет, – успокоил ее Ефим.

И, насытившись замешательством новой возлюбленной, объяснил, что многим обязан Соломону, что именно он по просьбе дяди Натана когда-то помог ему вернуться назад, перейдя советско-польскую границу.

На этих словах Маргариту рвануло, она рукокрыло взлетела с кровати, став в точности такой же, как на фотографиях Гринберга:

– Разве такое возможно, перейти границу?! – А потом: – Зачем ты мне это рассказываешь? Проверить хочешь, не донесу ли? В русскую рулетку со мною играешь?

И он снова успокоил ее – «дорого встанет такая русская рулетка».

⁶ А. Е. Новогрудский (1911–1996) – советский сценарист документальных и художественных фильмов, критик, журналист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

– В какой же стороне были три твоих моря? – спросила она его.

И Ефим рассказал ей десятилетней давности историю, от начала до конца, почти все, кроме недавней поездки в Стамбул и на Принцевы острова, куда отбыл по просьбе Соломона Новогрудского и еще кого-то, кого именно, Ефим не знал, но предполагал нескольких высокопоставленных армейских чинов и одного наркома. «Вот этого Маргарите точно не надо знать. Вот это правда – опасно».

А потом он, не вылезая из теплой постели, гулял с ней по Вене, по его Вене, потом – показывал ей свой Зальцбург, потом, сбежав с заснеженного брейгелевского холма, облюбованного одним модным австрийским писателем, оказался с Маргаритой в Вероне среди желтой дзенской листвы на площади у монастыря Сан-Дзено, а потом ветер над закрученной в кольца, совсем как на рисунках Леонардо, рекой Адидже перенес их сначала в солнечный Рим на виа Маргутту, а затем в дождливый Берлин на Курфюрстендамм.

Поначалу Маргарита не знала – верить ему или нет, но чем продолжительней был их полет, тем убедительней казался рассказ Ефима.

А когда он начал рассказывать ей про Париж, «аббатство» в Фонтенбло и своего мастера Джорджа Ивановича, Маргарите показалось, что Ефим раздваивается на глазах:

– Не знаю, кто ты, а кто твой двойник. Еще не умею вполне отличить вас.

Ефим тогда сказал, что и у него не получалось отличить Джорджа Ивановича от его двойников.

Собственно говоря, потому-то он и покинул «аббатство».

– «Аббатство»? – Она посмотрела на него, будто была аббатисой, а он «ягодкой любви» в монашеском облачении. – Почему вы называли вашу коммуну «аббатством»? – и сменила роль: просунула свою руку под его, положила голову ему на плечо, потерлась шелковистой щекою. Актриса!..

– Когда я добрался до дома в Фонтенбло, все уже называли это местечко «аббатством». Зато до меня никто не называл Джорджа Ивановича – Беем. Никому не приходило в голову так его назвать. Хотя одной встречи с ним хватило бы, чтобы определить – он настоящий, не исправимый никакими ментальными учениями кавказский бей.

– Восточную начинку не вытравить даже магам. – Мара села на край кровати, просунула руку в чулок и поиграла оттопыренными пальцами, показала ему Петрушку. – Да что там маги, если сам Чардынин из меня бакинку не вытравил.

– Вот ведь какое совпадение! О Баку и Тифлисе мне много рассказывал Джордж Иванович, там прошла его молодость. В Тифлисе в духовной семинарии он свел дружбу с Чопуром, а потом вместе они совершали налеты на Баку и его окрестности в период хаоса власти. Джордж Иванович знает о Чопуре столько, сколько самому Ягоде не снилось. Если Чопур и боится кого-то, то только его, Джорджа Ивановича.

Ефим сейчас практически повторил слова, которые принадлежали человеку с Принцевых островов.

– Я слышала, у Чопура, как ты его называешь, тоже есть двойники. – Мара набросила на себя халат с длинноусыми китайскими драконами.

– Его двойники все до одного – заложники страха, а двойники Джорджа Ивановича – слуги света, – сказал Ефим и добавил: – Понимаешь, у них разные коды существования. – Откинул лысую голову на подушку. – Настолько разные, что Джордж Иванович не раз давал нам понять в Фонтенбло, что Чопур мечтает снять с него посмертную маску.

Маргарита встала с кровати. Придумывая новый образ в зеркале, поинтересовалась, почему Ефим называет Чопура – Чопуром, а не как все.

– Джордж Иванович уверял, что лучшее средство защиты от Чопура – называть его Чопуром.

– Тогда называй меня Марой, – сказала Мара, – это будет лучшим средством защиты от меня. – Уловила в зеркале новый образ, рассмеялась, точно в немой фильме Довженко, показав ему свои маленькие, выточенные для нежной любви зубы.

Тогда Ефим, не отрывая голову от подушки, произнес роковую для всякого мужчины фразу:

– От тебя у меня защиты нет.

После этих слов Ефима Маре-Маргарите стало по-настоящему страшно, показалось, впервые в жизни в ней было так много женщины. Такого не случалось с ней ни при Чардынине, ни при других возлюбленных.

Однако чувство это оказалось временным. Вскоре Маргарита с головой ушла в новую работу над фильмом «Рванные башмаки». А Ефим носился со своими рассказами из редакции в редакцию, гнал материалы в «Правду» и «Труд» и ждал, когда на советских экранах появится «Измена», снятая по их с Шурой Новогрудским сценарию.

Психологическая драма «Измена» на экранах так и не появилась: Главрепертком РСФСР запретил фильм как «пацифистский, деморализующий зрителя».

Намечающийся роман с исполнительницей главной роли Евлалией Успенской (Ольгиной) сорвался, а Шура Новогрудский куда-то очень грамотно запропастился, вероятно, засел за очередной сценарий где-нибудь в Малаховке.

Зато у Мары все складывалось как нельзя лучше. Ее фильм вышел на экраны. Успех был небывалым. Все, кто считал, что в Советском Союзе может быть только одна женщина-режиссер, и она уже есть, и зовут ее Эсфирь Шуб, теперь помалкивали.

«Рванными башмаками» восхищался даже сам Максим Горький. Фильм смотрели в Европе и в Америке. Из Америки прислали корреспондента: выведать у Мары, как она работает с детьми.

А потом случилась ее знаменитая встреча с Роменом Роланом на даче у Горького. Маргарита летала от счастья. Ее перевозносили наравне с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко... Казалось, вот сейчас-то все по-настоящему и начнется, но...

Но вдруг все пошло не так. Между ней и кино словно выросла стена. А после «Отца и сына» ее обвиняли в формализме, антихудожественности и политической несостоятельности, вытаскивали на обочину, заставляли каяться в «ошибках».

Маргарита не знала, что делать. Она решила написать письмо Чопуру. Ефим устал отговаривать ее:

– Ты что, совсем ничего не понимаешь? Подумай, что будет после твоего письма! Не понимаешь, что Пудовкин с Довженко тебе вовек не простят того, что было на горьковской даче? А тут еще Радек!..

И тогда они поссорились. Поссорились крепко, как никогда. И если бы не арест дяди Натана, разошлись бы на веки вечные.

Пока у Ефима проносились в голове все эти воспоминания, он незаметно вышел к Бакинскому рабочему театру. Подошел к служебному входу, располагавшемуся справа от лестницы.

Зашторенная высокая дверь с латунными ручками и неприветливой пружиной впустила его вовнутрь. Обычный служебный вход, как во всех московских театрах, только вот лестница больно высокая и мраморная.

Поднялся, подошел к вахтерше.

Пожилая красивая женщина, по всей видимости так и не добравшаяся в свое время до Парижа, отложила растрепанную толстую книгу. Бывают такие – читаешь всю жизнь. Дома, на работе, в отпуске. И эта книга становится книгой жизни.

– Моя фамилия, – откашлялся, сглотнул слюну, – Милькин, – но в горле по-прежнему сухо. – Я из Москвы. – Сейчас бы стакан воды не помешал. – Драматург. Сегодня договаривался о встрече с Фатимой Таировой, но... Как и где я мог бы ее увидеть?

Женщина поднялась, встала за спинку венского стула, как это обычно делали раньше старорежимные педагоги в гимназиях, тихо спросила:

– Очень нужна? – Он не ответил ей, он уже все понял по ее глазам, смирившимся с обстоятельствами. – Вчера забрали.

Ему показалось, он услышал, как скрипят наверху половицы под сапогами чекистов. «Сколько их? Скорее всего – двое. Внизу должна стоять машина. Черная. И в ней тоже – двое. И еще двое по углам улиц. Это если все серьезно». Но насколько серьезно они относятся к нему?

– Благодарю вас, – только и смог сказать Ефим.

– Не за что, товарищ драматург. – И шепотом: – Лучше не приходите сюда пока.

Он быстро сбежал вниз по лестнице. Сегодня ему определенно везло на порядочных людей. А ведь мог бы и нарваться. Еще как мог!

Черного авто, выйдя на улицу, Ефим не обнаружил.

«Должно быть, неподалеку где-то дежурит, за каким-нибудь углом».

Хвоста тоже не было, но на всякий случай он зашел по пути в небольшой сад.

«Если за мною следят – отсюда проще всего будет заметить».

Вероятно, это был тот самый Молоканский сад, о котором ему говорила Мара. Он посидел на скамеечке. Развлекся здешними видами. Повспоминал, кто у него еще есть в этом городе.

«Нюра, сестра Мары, но к ней я, конечно же, никогда не обращусь за помощью. Соломон и Герлик – бакинцы, но они в Москве и трогать их никак нельзя: потянется ниточка. Телеграфировать Маре? Тоже опасно. Наверняка за ней следят так, как не следили раньше, до моего бегства в Баку».

В последний раз они встречались с Марой неделю назад в Детском парке Краснопресненских ребят. Парк разбили совсем недавно на месте мебельной фабрики Шмидта.

Ефим пришел пораньше. Выбрал скамейку неподалеку от эстрады.

Солнце выглянуло из-за синей дымки, и из фотографического кружка навстречу солнцу вылетела ватага пионеров с «ФЭДами» и «ФАГами».

Тугогрудая, с мускулистыми икрами комсомолочка из тех, что были запущены Чопуром в массовое производство совсем недавно, что-то кричала вдогонку детям, затем махнула такой же мускулистой, как ноги, рукой и побежала за ними сама. Потом остановилась, раздула полосу грудь и свистнула в боцманский свисток.

Детвора даже не обернулась.

Объективы маленьких гринбергов интересовало все: шустроногая мелюзга на велосипедах, томные отроковицы на качелях, дебелая продавщица из будки «Мосминводы», отгоняющая мокрым полотенцем безногого инвалида с «Марсовой звездой» на порубленной белогвардейцами груди, озорной черный пудель, нарезавший кривые круги вокруг белобрысого мальчугана с желтым теннисным мячом, трубач в тюбетейке, выдувающий медь под портретом прищурившегося кавказского усача.

Маленький мальчик, вокруг которого кружила няня, смотрел на юных фотографов как зачарованный. А Ефим смотрел на мальчика.

«Мне бы такого Бог послал, половину бы дела сделал в жизни».

Мальчик был тихий, рассудительный не по возрасту, с большими грустными глазами. Няня звала его Аликом: «Алик, подойди-ка ко мне, дружок. Ты слышишь меня?!»

Ефим поймал себя на том, что, глядя на мальчика, которого представил сейчас своим сыном, испытал чувство вины. Если бы мальчик был не столь маленьким, он бы даже извинился перед ним. Кто знает, возможно, у него еще будет время это сделать. Но как он ему все объяснит? Как скажет, что не намерен был жениться на его матери, что просто поддался сильному, очень сильному влечению, что такое бывает со взрослыми людьми? Но почему ему видится именно этот сюжет, почему он не выберет другой, с другой мамой, возможно, тогда и объяснять ничего не придется?..

«Значит, все зависит от мамы? Значит, маму надо искать правильную? Как они ищут правильного отца из-под шляпки, под ошалелый стук каблучков? А как же любовь?!»

Ефим хотел было подозвать Алика и прочесть ему «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», но, поразмыслив, он решил, что это уведет пацана далеко в сторону. Сам когда-нибудь разберется.

Вот Мара – она могла бы все пацану объяснить. На съемочной площадке такое с детьми творит, они все делают, о чем она их только не попросит. Эх, если бы Али́к был от Мары...

И только он так подумал, как увидел ее – Маргариту. Она шла со стороны Горбатого моста. Со стороны солнца.

Какое-то чувство тоски обрушилось на него, как будто вдруг смотришь на любимую женщину и понимаешь – то ли она уже не та, то ли ты – уже не тот.

Мара со знаменитых фотографических ню Гринберга лишь отдаленно походила на эту женщину. Совсем другая Мара, в ответ на его очередную вспышку ревности, могла сказать месяц тому назад: *«Мое чувство к тебе никогда бы не стало меньше от случайных “издержек плоти” – твоей или моей. А внимание, которым тебя наделяли неплохие женщины, только доказывает мне, что мой выбор не так ужасен, как меня стараются убедить в этом мужчины»*.

Больше всего Ефима удивила тяжесть ее походки и начинающееся бабье колыхание.

«Может, она беременна? Раньше никогда так не ходила. Марин шаг всегда был летуч».

Ему показалось, что на эту встречу Маргарита пришла с большой неохотой.

«Нет уж, хорошо, что Али́к не ее сын. Если бы мне пришлось с ней расстаться – я бы точно не выжил, потеряв двоих сразу».

Он встал со скамейки и сделал несколько шагов навстречу Маргарите.

Ефим и Мара старались не встречаться взглядами – больно уж изучены друг другом были их глаза.

Маргарита, не стовариваясь с Ефимом, тоже отметила про себя фактурного мальчика. Подошла к нему, присела, чтобы быть с Аликом одного роста. Хотела дотронуться до него, но какая-то стальная пружина удержала ее.

– Да, был бы у нас с тобой такой, много легче было бы и тебе, и мне, – сказал он, чтобы снять возникшее напряжение.

Мара в ответ улыбнулась, как улыбаются сильные, очень сильные женщины, когда им бывает больно.

– Или сложнее. Как ты? – он поймал ее руку в полете, когда она хотела поправить волосы на его парике.

– Как видишь!

Порубленный инвалид откатился от будки с водой.

Черный пудель опрометчиво понесся за очередным свистом чопуровской комсомолки, но тут белобрысый лопухий мальчик расстался с теннисным мячиком, и пудель с небольшим заносом повернул в сторону клумбы.

– Как с тобой тяжело...

– С тобой, думаешь, легче?

Как это с ними бывало, скоро они все-таки нашли то общее, из-за которого никак не могли расстаться по-настоящему.

Она даже сказала ему, что замуж больше не выйдет ни при каких обстоятельствах, зато заведет черную пуделицу, «норожает» щенят и будет торговать ими оптом.

Алик попросил воды. Няня дала мальчику денег. Алик пошел к будке. Сам. Увидев повеселевшего инвалида, намеревавшегося выцыганить у мальчишки монетку, остановился, но через секунду собрался с силами и прошел мимо него.

– Какой молодец, – сказала Мара и извлекла из сумочки несколько сложенных вдвое бумаг. Развернула, расправила:

– Прости...

– Ничего страшного.

– Я сделала все, как ты просил. Вот направление. Вот – печати. Распишешься сам. Здесь вот и здесь. И не так размашисто, как ты обычно это делаешь.

– ?! – он изломил бровь.

– Двадцать третьего мая ты уже должен быть в Баку. Утром двадцать четвертого – на «Азерфильме». Это адрес Фатимы Таировой, мы с ней вместе учились в театральной студии, а сейчас Фатимка служит в БРТ, в Бакинском рабочем театре. Кажется, метит в примы. Она и раньше была талантлива и необыкновенно хороша собою. Прошу тебя не увиваться за ней. Сделай одолжение.

– Сделаю.

– Уж постарайся. Мы с ней в кратчайшие сроки зарезервировали для тебя роскошную комнату в Ичери-Шехер. Целых двадцать четыре квадратных метра, с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь... – Она протянула ему рекомендательное письмо. – А это передашь еще одному моему человечку – Семену Израилевичу. – Она вырвала из блокнота листок и химическим карандашом начала что-то быстро писать. Потом вспомнила о чем-то более важном, спросила:

– Что слышно о дяде Натане?

– Посылки начали возвращаться.

– Вот как! Сочувствую. Прошу тебя следовать моим советам и не бывать в Баку в тех местах, которые я тебе сейчас перечислю. В противном случае – все напрасно. Ты понял меня?

– Ты говоришь со мной как со своими детьми на съемочной площадке.

– А как иначе говорить с тобой, если ты все делаешь мне наперекор? И потом, с чего ты взял, что я с детьми на съемочной площадке разговариваю как с тобой? У тебя есть закурить?

– Ты же бросила.

– Да, вчера.

Он протянул ей папиросу, тут же чиркнул спичкой, сказал:

– Можно подумать, Радек⁷ у тебя по струнке ходит.

– Радек, Радек... Что ты прицепился к нему? Как ты вообще можешь после всех своих загулов попрекать меня Радеком? – Она сунула ему в руку листок, на котором успела что-то набросать.

– Ладно, прости, не хотел.

– Я знаю, чего ты всегда хотел – чтобы я любила тебя. Хотел сильно, но недобросовестными средствами.

– Возможно, что так. И что с того?

Время будто сломалось. Теннисный мячик завис в воздухе вместе с черным пуделем.

⁷ К. Б. Радек (настоящее имя – Кароль Собельсон) (1885–1939) – советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения. В 1919–1924 годах член ЦК РКП(б); в 1920–1924 член (в 1920 – секретарь) Исполкома Коминтерна, сотрудник газет «Правда» и «Известия».

– Я хотела любить человека другого внутреннего склада, чем ты, и считала возможной эту перемену. Но несколько лет назад я окончательно поняла, что это неосуществимо, и по-настоящему нам надо было тогда же разбежаться и впредь никогда более не сходиться.

– Что же тебе помешало?

– Много причин. – Она не знала, обо что ей затушить папиросу, а он не знал, как ему выйти из-под ее камнепада.

Тут к ним подбежал Али́к: промахнулся скамейкой. Ребенок, видимо, почувствовал, что что-то не так, и кинулся к няне. Забрался к ней на колени.

Мара примеряла улыбку Джоконды, которая ей совершенно не шла.

Из-за этой ее улыбки на лбу Ефима выступил пот.

– Вокруг Москвы начали гореть леса, – сказала Маргарита, точно собиралась весь парк спасти от конфуза.

– И смог надвигается на город, – поддержал он ее.

– Ну что? Мы обо всем договорились?

– Да, конечно, я, пожалуй, пойду, – сказал он и встал со скамейки.

– Погоди. Вот еще что. Пиши свой роман, Ефим, и присылай мне каждую неделю по новой главе.

– Сама же говорила, что надо быть осторожней. Первое же мое письмо прочтут раньше тебя. И потом – в неделю по главе я не смогу. Я так не умею.

– Сможешь, если захочешь. Ты столько раз рассказывал мне эту историю, что тебе остается только сесть и записать ее. Статьями и сценариями ты *там* не отчитаешься. Чтобы подняться, надо покинуть избитую дорогу.

– Знаю, это твой любимый афоризм. Не знаю только, кому он принадлежит, тебе или Монтеню?

– Как устроишься, телеграфируй.

Она тоже поднялась со скамейки, не говоря ни слова, стремительно пошла в ту сторону, откуда появилась, но, сделав несколько шагов, остановилась, развернулась и послала ему быстрый воздушный поцелуй.

«Ну вот, кажется, и развелись, точнее разлепились, – подумал он, оставшись один. – Через какое-то время она попросит меня вернуть все свои письма, а мне принесет мои или перешлет их в Баку».

Это был тот час пятницы, в который местами уже закралась суббота.

От жары соскальзывал парик. Ефим скинул пиджак и забросил за спину, как это делал обычно новый советский курортник в каком-нибудь документальном фильме. Оглянулся по сторонам. Никого подозрительного, только люди кругом. И люди – как люди.

«Считай, что ты в Стамбуле, – сказал он себе, – только в советском Стамбуле, в котором ты то ли керосинку забыл выключить, то ли кран оставил открытым».

И пошел вниз, к гостинице «Старая Европа», дорогой, которую Мара проложила в Москве химическим графитом на листочке-оборотыше.

Но вскоре Ефим замедлил шаг, остановился в раздумьях: «А может, все-таки свернуть налево, к Парапету? А оттуда податься на Торговую?».

Его тянуло на Торговую. Мара говорила, что если кто-нибудь ему скажет, что Баку начинается с Михайловской, Садовой, Ольгинской или Мариинской, это неправда, по-настоящему город открывается только с Торговой улицы: «Но ты лучше туда не ходи, на Торговой можно встретить кого угодно – и своих, и чужих. А это совсем не то, что тебе нужно. Хотя что я говорю, все равно ведь пойдешь. Назло мне».

Он свернул налево. Первое, что увидел, выйдя на Торговую, – людей, собирающихся у фонарных столбов с черными хоботами динамиков. Люди застыли на месте и чего-то ждали.

Может быть, поэтому все они показались ему мертвыми. И у него самого появилось чувство, будто и он завис сейчас между жизнью и смертью.

Он вспомнил, что точно такое же чувство испытал в одном польском замке, куда угораздило его однажды попасть.

«Нет, все-таки права была Мара, не надо было сюда идти!»

Вскоре в черных растрехах начал хозяйничать голос хозяина города Багирова.

«Представители многонационального Баку, многонационального Азербайджана, спаянные дружбой народов...»

Товарищ Багиров был редкостным тугодумом, большой связностью речь его не отличалась, и каждое слово отдавало бычьей потливостью. В довершение ко всему Хазарский ветер буквально в ключья рвал его громкую речь, глумился над местным божком как хотел.

«На пороге новой конституции вы должны оглянуться, должны посмотреть, кто враг советского народа, кто враг Азербайджана, кто враг наших национальных республик... Мы будем беспощадно уничтожать этого врага!..»

Люди слушали с напряжением. Переминались, глядя друг другу в затылок. Воздух густел меж головами. Дышать становилось труднее. Мерещился запах несвежего белья.

Ефим представил себе Фатиму Таирову, страшного врага национальных республик, которой чекисты выбивают сейчас зубы где-то глубоко под землей. Зачем она им? Чем не угодила Чопуру? И почему решили забрать ее в пятницу? Чопур ведь не любит ни пятниц, ни суббот, ни воскресений. По правде сказать, он ни один день недели не любит. Ему лишь бы ночь над страной раскачивалась бездетной люлькой. Безлунная и беззвездная, с которой можно чокаться бокалом грузинского вина.

А Багирова уже несло по ухабам и кочкам, аж до самой столицы, до самого Кремля. «Мы не должны забывать, что враг еще не добит, что борьба капитализма с социализмом не кончилась и происходит в мировом... в международном... в планетарном масштабе... Как говорит товарищ... – многая лета Чопуру. – Когда читаешь показания разоблаченных врагов, не верится, что в человеческом облике может существовать лютей зверь».

Пауза, в точности такая, какие обычно берет Чопур. Гудение Хазар-ветра. Наверное, товарищ Багиров Мир Джафар Аббасович сейчас за кепку свою держится, как за место первого секретаря.

«Мы знаем хищных зверей, мы знаем бешеных собак, но таких, каких вырастила троцкистская, зиновьевская и мусаватская банда, мы будем находить и уничтожать».

Торговая молчит. Мертва Торговая.

«Находить и уничтожать».

Ефим подумал, что его новый квартирный хозяин – и тот, наверное, лучше изъясняется, чем этот ставленник Чопура.

Нет, правда, спел бы он лучше про попугая, который «на одном ветку с мамой сидит», повеселил бы Торговую, вернул бы людей к жизни.

К чему была приурочена эта речь Багирова – к готовящейся конституции или к еще теплом постановлению Политбюро ЦК о репрессировании троцкистов – Ефим не знал.

Он хотел выбраться из толпы, уйти как можно быстрее, но понимал, что люди Чопура расставлены по всему городу, и в особенности много их должно быть возле радиоточек.

Придется этого кавказского Цицерона дослушать до конца и отойти от громкоговорителя только тогда, когда народ начнет расходиться. А еще лучше после речи Мир Джафара Аббасовича попить газировки у стенда со свежими газетами. Глянуть, как проходит первый Чемпионат СССР по футболу. Успокоиться, осмотреться.

И газировку с абрикосовым сиропом нужно пить, ни на минуту не забывая про остров Наргин. Так она вкуснее будет. Значительно вкуснее, ну прямо как живая вода.

Стоило репродукторам смолкнуть, в воздухе сразу же стало меньше общественного: нечистого чесночного дыхания с кариозной гнильцой, перебиваемого резким подмышечным духом и другими не очень приятными запахами запущенных интимных зон.

Загустевшая в толпе кровь побежала, понеслась теперь пешеходным джазом в сосудах.

Улицам вернули их названия, витринам – отражения действующих лиц парада-алле, написанные к подворотням дворники с летающими метлами заняли свои позиции у ворот.

Люди весело двинулись кучками в четырех направлениях с надеждой на то, что «находить и уничтожать» будут не их и не здесь.

Ефим занял очередь за полной белой феминкой с высокой неполиткорректной прической, двойным подбородком на затылке и прямой веснушчатой спиной, от которой исходил терпкий аромат то ли «Красной Москвы», то ли «Белого Берлина». Полез в карман за медяками.

Оглянулся и вдруг, под плакатом «Превратим СССР в страну индустриальную!», увидел Новогрудского-младшего.

Златокудрий, искрящийся бог перемен и неожиданных встреч, все принимающий и всем довольный, смотрел на него, глазам своим не веря, и так улыбался, будто не Багирова только что слушал, а Морфесси⁸ где-нибудь в «Штайнере».

– Ефим, ты?!

Герцель развел руками – единственный живой в окружении мертвых. Ефим немедленно покинул очередь, увлекая его в сторону: за ним тоже могли следить.

– Да ты погоди, погоди, я не один. Ляля! Иди к нам. Каким ветром?..

– Индустриальных перемен.

– Снова с Марой разошелся?

– И не сходился.

– Я же зимой вас видел вместе. Не переживай, мы тебе тут быстро невесту найдем. – Тут он спохватился. – Лейла Уцмиева. – Оглянулся по сторонам. – Княжна Уцмиева. Ляля, позволь представить – Ефим Ефимович Милькин. – Снова оглянулся по сторонам. – Если бы ты, Лялечка, знала, какое за ним прошлое...

– Герлик, давай отойдем в тихие улочки.

– А что я сказал? Ляля, Ефим в прошлом – красный командир.

– А в настоящем? – спросила княжна, сверкнув беспартийными глазами.

– Прозаик, журналист и драматург.

– Покамест только кинодраматург, – поправил Ефим.

– Скромняга, скромняга, – и по плечу похлопал друга. – Что думаешь по поводу этой, с позволения сказать, речи? – спросил светский Герлик.

– Ты помнишь домик палача в Зальцбурге? – Взгляд Ефима сейчас не смогло бы растопить и бакинское солнце.

– Ты что имеешь в виду, тот дом палача, рядом с которым никто не хотел селиться? – Герлик обнажил ослепительно-белые зубы – мечту чопуровских опричников.

– Именно. Надеюсь, ты понял меня.

Герлик хотел что-то сказать, но Ефим перебил его.

– Вы сейчас куда?

– Гуляем, а что? У тебя дела?

– Я только приехал. А ты как здесь, к родным?

– Слушай, а давай завтра к нам на субботу, все тебе расскажу. И Ляля... Ляля тоже будет. – Ляля сделала удивленные глаза, видно было, что она уже несколько раз в жизни ломала подаренные ей розы.

Ефим задумался:

⁸ Ю. С. Морфесси (1882–1949) – российский эстрадный и оперный певец (баритон).

– Неудобно как-то, и потом...

– Что значит – неудобно? Что значит – и потом? Я тебя в последний раз когда видел? Запиши адрес. Вторая параллельная, дом двадцать дробь шестьдесят семь, квартира тридцать семь. Третий этаж. Запиши-запиши... У тебя есть чем?

– Герлик, я запомню.

– Поймаешь фаэтон, скажешь: мне нужно на Кёмюр мейдан или Кёмюрчи мейданы. По-русски это будет Угольная площадь или Площадь угольщиков.

– В каждом городе такая есть.

– Место в Баку всем известное.

– А можете сказать просто: мне на Шемахинку, – вставила свое слово Ляля и улыбнулась так, словно только что вышла из пены каспийской.

– Ну так что? Придешь на субботу к Новоградским?

– Герлик, иди, гуляй барышню. Таких красивых я со времен Вены не видал.

– Это вы еще его сестру младшую не видели. – Княжна снова улыбнулась.

«Наверное, так улыбаются вечности, – подумал Ефим. – Просто газель, дочь газели с шахиншахских миниатюр. Герлику всегда везло на баснословно красивых и породистых женщин».

– Ты будто сам не свой, у тебя точно все хорошо? – Герлик окинул его внимательным корреспондентским взглядом поверх очков в золотой оправе.

– Хорошо-хорошо.

– А где остановился? – тот же внимательный взгляд.

– В Крепости, – сказал он и незаметно глянул на княжну.

В ответ она одарила его той улыбкой, за которой гоняются фотографии всего мира.

– Будь осторожен. Твоя Мара, между прочим, в Крепости с кинжалом ходила. Завтра, как стемнеет, у нас – и никаких отговорок.

Ефим взял под парик и двинулся в сторону дома с часами на башенке.

В почтовом отделении народу – два человека. Кругом мрамор и зеркала, отражающие мрамор. Прохладно, как в склепе. Если не брать во внимание портрет все того же Чопура и тягучий запах горячего сургуча, вполне можно обрести в душе некоторую свободу.

Высокие окна, мягкий желтоватый свет от матовых лилий, произрастающих из зеленоватой бронзы, широкие крашенные подоконники и стрекот телеграфа настраивали на философский лад: **Cras melius fore**⁹.

Он попробовал разогнать казенное перо по бланку. Перо безбожно цепляло ворс, который приходилось постоянно снимать с его кончика. В итоге он скомкал бланк и выбросил его в корзину. Очень скоро за ним последовал и другой скомканный листок.

– Доехал благополучно тэчэка Устроился нормально тэчэка Вот только море неспокойно тэчэка В разлуке никакого смысла тэчэка Твой Эфим тэчэка Все? – спросила собирательница слов за окошком под номером три.

– Да. Точка. Только не Эфим, а Ефим.

– Ой, простите!

– Ничего страшного. Теперь можно ставить точку.

И сразу же после этой телеграфной точки в голову влетела первая строка романа, до которой он не додумался в своих черновиках: *«В продолжении войны не было никакого смысла – она уже была проиграна вчистую»*.

– Еще что-нибудь? – спросила телеграфистка, хорошенькая азербайджаночка с ямочками на щеках.

Ефим поинтересовался, есть ли поблизости канцелярский магазин.

⁹ Cras melius fore (лат.) – завтра будет лучше.

– В пяти минутах отсюда, как выйдете, сразу налево.

«У барышни отличный русский. Вообще, следует заметить, здесь если говорят по-русски, то без акцента, только окончания слов сильно растягивают».

Магазин канцелярских товаров он нашел на второй линии от моря. Ефим купил план Баку, коробки с кнопками, фиолетовые чернила, клей, точильную рыбку, карандаши, ластик и толстую тетрадь в бледную клетку. Вышел, дошел до угла, вернулся, попросил еще карту Европы и красные и черные флажки на булавке.

– Вам политическую? – кисло улыбнулась продавщица.

– Мне чтобы городов побольше было. Карту сверните, в нее все побросайте и бумагой оберните с двух сторон, чтобы ничего не рассыпалось.

– Как скажете.

По дороге домой он снова обкатывал в уме первую строчку романа. На тридесятый раз убедился, что это та самая фраза, которая содержит в себе и порождает десятки и сотни фраз, из которых складывается или может сложиться единое целое.

«Как там Мара говорила? Иногда надо просто писать, все равно где, неважно для кого». Но просто писать оказалось делом не таким уж простым.

Он смотрел на проходящих мимо женщин и сравнивал их с княжной Уцмиевой.

Княжна выигрывала с большим отрывом. Но женщины, на которых он смотрел, не становились от этого хуже.

«Весна... Завтра будет лучше. А послезавтра – еще лучше».

Керим стоял на углу дома с толстяком в кремовых штиблетах и о чем-то говорил на местном наречии. Толстяк был чем-то недоволен, и Керим успокаивал его как мог.

Когда они увидели Ефима, толстяк высоко задрал небритый подбородок. А стоило Ефиму почти поравняться с ними, скривил рот и презрительно сплюнул себе под ноги – так же, как сделал это утром.

– Мир дому твоему. – Ефим едва заметно наклонил голову.

– Мой дом – твой дом. – Керим приложил к груди руку в ответ.

А толстяк ничего не сказал. Сплюнул снова и отвернулся.

– Вроде я за собой черного кота не привел, – заметил Ефим, однако толстяк с Керимом не поняли его.

Во дворе возле тандырной печи возилась старуха. Глядя на ее сгорбленную спину и костлявые руки, Ефиму подумалось, что смотреть на стариков – все равно что зубрить расположение звезд на небе. Смотришь и понимаешь: история их жизни обязательно забудется и, как только забудется, – повторится вновь, и сами они повторятся, только носить будут другие имена.

Старуха – призрак любви тысячелетний давности – вытащила из печи круглую лепешку в леопардовых пятнах, обернула в полотенце и протянула Ефиму. Он поблагодарил ее, оторвал от лепешки дымящийся кусок и попробовал.

Такого хлеба он никогда и нигде не ел.

– Спасибо, мать. Ты просто волшебница.

– Керим, ай Керим, – позвала просто-волшебница.

Тот притаился, ковыляя. Сказал, чтобы Ефим хлебом не наедался, потому что буквально через пять минут поднимет ему наверх яичницу с зеленью, сыр-мотал и чай с чабрецом. В точности такой, какой утром был.

– Пойдет, ага?

– Еще как. А кто все-таки тот человек, Керим? – решил опять спросить Ефим.

– Ай, ага, не спрашивай, да. – И все нутро свое честное пролетарское под кепку загнал.

Пока Ефим ждал Керима с его бакинской яичницей, он успел передвинуть стол поближе к балконной двери и повесить на стену карту Европы.

Воткнул между Львовом и Варшавой несколько красных флажков, а в Москву – три черных. Обвязал их черной ниткой.

Отошел, окинул довольным взглядом меченную им Европу, после чего сорвал ледериновую обложку с толстой тетради и аккуратно вырвал из нее несколько листов.

Вскоре появился и Керим с обещанной яичницей на ушастой чугунной сковородке.

– Яйца свежие, сураханские. Когда ешь, птенца чувствуешь. Правду говорю, э...

Ефим вспомнил, как мать всегда с повышенной внимательностью смотрела на разбитые яйца: не дай бог, заметит красную точку – завязь жизни, сразу же все содержимое миски передавалось Дуняше: «Возьми себе».

– Разве хорошо, когда птенца чувствуешь? – А сам подумал: неплохая деталь, ее бы куда-нибудь в роман вставить для убедительности.

– Разве плохо, ага?

«В самом деле, чего это я?!»

Ефим ел быстро, почти не отрывая взгляда от карты. Потом поставил пустую тарелку на самый угол стола, как это делают трудяги в заводских столовых, и, сбросив хлебные крошки так, чтобы они не упали на брюки, достал из чемодана черканную-перечерканную пачку машинописных листов.

С недовольным, перекосившимся лицом начал отрезать от листов по кусочку, клеивать их на новые страницы, выводил поверх клейки тоненько пером, а после – подтягивал стрелочками набухшие словами облака: это сюда пойдет, а это уйдет в начало следующего абзаца.

Затем писал в тетрадке, купленной сегодня, перепечатывал написанное на машинке, стараясь сохранить то чувство, которое настигло его в почтовом отделении.

Случалось, не трогал в рукописи ничего, только улыбался про себя или щурился сильно, обращаясь внутренним взором в то далекое прошлое, о котором шло повествование.

Он и вправду столько раз рассказывал эту историю, что теперь нужно было просто отобрать ее наилучшую редакцию.

Глава вторая

Войцех

В продолжении войны не было никакого смысла – она уже была проиграна вчистую.

Подавленные огромной тратой сил, армии двух фронтов – Западного и Юго-Западного – отступали на восток, который пока что ничем особенным от запада не отличался.

Вот уже несколько недель ходили упорные слухи о возможном перемирии, но точных сведений покамест не было ни у кого.

Все чаще случались массовые дезертирства, остановить которые у командования не было возможности, фронты растягивались на штабных картах, армейские соединения отрывались друг от друга на непозволительные расстояния, бесконечными переходами вдвигаясь в осень, принимаемую многими за конечную цель.

Все той осенью, полной трагических событий и таких же предчувствий, было «как в последний раз», но все, конечно, не расставались с надеждой на «светлое будущее», ради которого торопились принести «последнюю жертву». Однако выходило так, что жертвами – и отнюдь не последними – оказывались либо ближний твой, либо ты сам. Переход из одного мира в другой не имел более не только врат, но и хоть какой-то разделительной черты.

Ходовым оправданием этого насилия над человеческой природой было «отстаивание правды», но, как это случается к концу почти всякой военной кампании, вдруг почему-то оказывалось, что правда у каждого своя, а общее – «все равно, жить или умереть».

Но если все-таки жить, задавались вопросом в Варшаве и в Москве, – кому, как и где? Ясно же, что так, как раньше жили, не получится: все направлено в русло мировой революции, потревожены законы планет, старые миры сталкиваются с новыми и, раздавленные ими, прекращают свое многовековое существование, а бывшие их черты немедленно затираются с опрометчивой насмешкой.

У того, кто в разведке, взгляд низкий, к земле прибитый, и нет в разведке ни звезд, ни зверя, ни человека. Один гулкий пульс на запястье руки, сжимающей оружие. Ты – усеченная душа с оружием в руке. С виду ты – тень, на деле – фанатик, которого потеряли из виду. А еще ты – убийца. Не безжалостный, но... холодный и расчетливый.

В разведке все наперечет – догадливый собачий лай, число патронов в барабане револьвера, горячая картофелина с глазком, хвоистый просвет, через который приближаешь будущее паром своего дыхания, стелющаяся над скирдами утренняя дымка, скисшая земля в лесопосадке, готовая принять тебя незаметно, точно понарошку, порожистая быстрина, уносящая имя твоё в сторону от суетных веков, непонятный шорох напополам с треском, заставляющий оглядеться по сторонам, заросшее травой в человеческий рост еврейское кладбище, подводящее горбатый итог всему, скрип седла, «близко» и «далеко» с биноклем и без, пасторальный коровий колоколец, пересохший колодец, птичий помет, паутина битого стекла, отлетевшая душа друга с последней благодарностью вечности: «Что ж, и пусть!»...

Все это – за спиною твоею, за уставшим от груза бессонницы позвоночником.

Вернешься – если, конечно, вернешься – все собранное в разведке пригодится. Для составления общей картины местонахождения врага, для переноса движения разведэскадрона из заполненной памяти в точку рассвета на дремлющей штабной карте.

Комиссар Ефимыч в разведке третий раз. Он знает, уже знает, главное здесь – уметь отречься от себя. Иначе не раскрыть врага, не отследить перемещений его и прикрытий... А еще разведка – это умение долго находиться в положении «между». Между своими и чужими, между небом и землей, между вдохом и выдохом. Потому-то и говорят про нее: «Сходить за

смертью». Хотя на самом деле тот, кто погибает в разведке, не погибает никогда. Просто уходит за горизонт. И там исчезает.

В этот раз повезло Ефиму – пуля навывлет прошла. И сил на одну атаку еще осталось. Если наскрести...

Точно со слов чужих, с надеждою последней незрячей стукнул в щели между небом и землею выстрел, и сразу же все стихло, и бестревожно стало вокруг. И время, будто вспять тронулось, потянуло тягуче к истокам, возвращая ко всему личному, оставленному раз и навсегда, к лицам близких с берега дальнего. Мимолетный, незабвенный миг...

Взводные топтались на лошадях в ожидании приказа неподалеку от эскадронного и полкового комиссара.

– Це шо за грамматика, Ефимыч?! – недоумевал эскадронный Кондратенко. – Ты так разумеи, у меня теперяча дух – продукт фабричный, доехали меня ляхи, вона за тем бугорком всех низведу.

– А ты погоди низводить, пока судья еще не вышел. – Комиссар, вчерашний мальчишка толстогубый, плетью поднял папаху с черных бровей и воздел голову к стеклянно-хрупкому небу, прозревающему первым побегом стылых злопамятных звезд.

– Чего мне годить-то?! – Эскадронный бездушно плюнул под взгорок и глянул на нескольких пленных, уже вынашивающих смерть подле орешника.

Наспех пересчитанные, раздавленные ожиданием, они старались не встретиться с грубым взглядом эскадронного.

Комиссар почувствовал, как горбоносое лицо Кондратенко становится цвета его чикчир.

– Ефимыч, у меня хлопцы в жиле остывают...

– Я – товарищ комиссар, и это – во-первых. А во-вторых, хлопцам вели задор поумерить, чтоб в свой час поляка до кишок достать.

– Тебе по осени, видать, «апостольское»¹⁰ в голову шибануло?

– Мы к «апостольскому» не привыкшие.

– Кто ж тогда у обрѣзанцев по жалости инспектор?

– По жалости у нас товарищ Ленин. – Ефимыч хотел сказать – Троцкий, но передумал. Отметив про себя отсутствие политического воспитания у эскадронного, а также лишенное пролетарского сочувствия, старорежимное отношение к богоизбранному народу, приказал:

– Одного «халлерчика»¹¹ докончить, потому как все равно сильно казаками разобран, остальных попридержать. А там видно будет...

– Ай-ё, бродило революции. – Эскадронный скомандовал «Повод!» и прочь пошел на рысях, а взводные за ним, по жиже чавкающей.

Жирнобрюхая комиссарова кобылка Люська, молодка беспокойная, еще не покрытая, тоже было направилась за копытами, разъезжающимися в черном глинистом месиве, но юнец комиссар поприжал бурноногую, образумил...

– Авось жалость моя и сгодится для магниевои иллюминации, – добавил Ефимыч для себя и ординарца.

– По полной форме, – поддержал его ординарец Тихон, великодушный кубанский хитрец. – А то, что Кондрат и на скитальцев твоих в обильной ярости, так то ж из-за жалобного прошлого своего. Пришлый он. А пархатый, известное дело, сироткину мозолю не обойдет. Вот его и конозит.

¹⁰ Здесь – церковное вино, кагор.

¹¹ «Халлерчик» – собирательное прозвище участвовавших в советско-польской войне поляков, пошло от имени генерал-лейтенанта Юзефа Халлера (1873–1960). Во время войны Халлер командовал Северным фронтом польской армии.

Темный исполнительный силуэт двинулся к орешнику, сухо передернул затвор карабина, вскинул его, не доходя нескольких шагов до притихшего вдруг поляка...

Ефимыч отметил про себя, что в одиночных, а точнее, в одиноких выстрелах железо поперек мира стоит. На слух да еще в темноте – боль нестерпимая, и ничего ведь не спасает от нее.

Он снял папаху. В ухе тускло блеснула качнувшаяся серьга. Свежий ветерок облетел влажные выющиеся волосы, облепил смоляную жиденькую бородку.

Лошади пахли дождем и лесом. Земля казалась мягче и глубже, чем вчера. Ее угольная чернота, в которой без учета пропадали и свет, и звук, и люди – опьяняла всех, и комиссара в том числе.

«Я заметил с первых дней войны – стоит кому-то вблизи тебя отдать богу душу, все вокруг сразу становится достойным внимания даром свыше».

Вон птица в небе зависла бухгалтерской галочкой, наверняка забудется-сотрется, а жаль, стоило бы сохранить ее в памяти.

Наверное, нет большего счастья, чем вот так вот, как он сейчас, приблизиться после боя к самому себе, почувствовать вот этот, прочно стоявший во рту вкус чеснока и ржавой селедки, обглоданной им до хвоста под огнем польской артиллерии в том самом леске, что грядую сырую, темною плывет сейчас невдалеке, или вот этот запах жирной галицийской земли и прелой листвы, мешающийся с запахом медицинской повязки на пробитой пулей руке...

– Пошла, шаловливая! – Комиссар двинул Люську широким шагом в сторону предполагаемых позиций врага.

Через полчаса Ефимыч задремал в седле, упершись подбородком в грудь, убаюканный ровным дыханием двойника, владевшего всеми языками его коротких, прерывистых снов.

Из темной незрячей выемки, освобождая себя от всех «точь-в-точь», показался из прошлого вестью далекой губернский город, отражающийся в черной реке. Выглянул вскоре и обозначенный бакенами фарватер.

Неизвестный бакенщик, большой красивый человек в кожаной куртке и с «маузером» на боку в деревянной кобуре, подплывал на лодке к каждому бакену и зажигал лампу «сегодня как вчера», чтобы утром загасить, а вечером снова возжечь огонь света человечества.

«Когда вырасту, непременно стану бакенщиком», – напомнил комиссару двойник высоким детским голосом. По течению широкой реки сплавляли лес, перегоняли гигантский плот до полутора-двух верст длиною, похожий на огромное, безоговорочно послушное плотогону, неповоротливое животное.

Звонко шлепали по воде плечи пожарного парохода «Самара».

– Эй, Самара, качай воду! – кричали с берега комиссаровы сестры и маленький братец Ёська, которые еще мгновение до того гуляли по Дворянской со строгой немкой-фребеличкой¹² Миной Андреевной по прозвищу Отто Карлович.

Из Струковского сада доносилась медь оркестра. Ее перекрывал сильный и красивый голос синагогального кантора.

Раввин Меир Брук, порхая, словно мотылек, объяснял что-то очень важное на пересечении четырех дорог главе местных анархистов Александру Моисеевичу Карасику, на тот момент уже торжественно отлученному от синагоги, но еще не знавшему, что недалек тот час, когда он будет две недели удерживать фронт против частей атамана Дутова. Потому, наверное, и припал анархист Карасик на колено перед кружившим вокруг раввином.

¹² Здесь имеется в виду последовательница учения Фрёбеля. Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782–1852) – немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, создатель понятия «детский сад».

– Нам бы и этого хватило, не то что манны небесной, – тихо молвил сын Агады¹³, протягивая Бруку разрезанное напополам пасхальное яйцо, – но вы же знаете, ребе, Он всегда дает больше, чем мы Его просим.

«Он всегда дает больше, чем мы Его просим. Даже если мы его просим во сне».

И вот уже медоточивая самарская красавица Броня, несмотря на осень, шагнула на лед катка в шароварах, держа за руку дядю Натана, что окончательно переполнило терпение городских властей и после чего те решили провести какое-то немыслимое санитарно-гигиеническое мероприятие.

С парохода из огненно-рыжей самарской осени начали палить пушки по мишеням глухой польской зимы.

Комиссар с двойником стали сильно расходиться во мнениях – Ефимыч уверял, что негоже комиссару дремать в разведке, а двойник – что если сейчас он откроет глаза, того, что было, уже не будет. Ефимыч долго искал свою бородку и нашел ее до последнего волоска на младенческом личике братца Иосифа, глядевшего с семейной фотографии стариковским взглядом, полным укора и мольбы.

В миге перед рассветом под комиссаром взбрыкнула и заржала Люська, и он почувствовал, как забирается в высокие кавалерийские сапоги холодная вода.

Вокруг все точно наизнанку вывернулось: крики, ругань и пальба застали комиссара в середине небольшой курчавящейся речки с пологим обрывистым берегом. Не успел он проститься с двойником, отправляя его воздушным путем назад в губернский город, как посыпались винтовочные выстрелы, ударил пулемет, шлепнулось в реку несколько мин, взметнув столпы воды с водорослями и кусками земли.

Взводного Лютикова, славившегося в полку своими роскошными шелковыми усами, подбросило вверх, как гимнаста в цирке.

Реальность происходящего, четкость материального мира и метущаяся в страхе душа подсказывали комиссару, что Фортуна может ошибиться сейчас, и для смерти, его смерти, достаточно пустяка – точно отмеренной порции пороха.

Единственным выходом из положения казалась немедленная, пусть и неподготовленная, атака.

Ефимыч выхватил из кобуры «маузер» и, держа его на весу, рванул Люську вперед.

Черная вода белой пеной кипела от неистовых лошадиных усилий.

– А ну, братцы, – надрывал глотку эскадронный Кондратенко в сыром тяжелом воздухе, – не спать! Время наше подоспело!

Комиссар-самаритянин тоже хотел бросить вперед себя: «Поднимем революцию до девятого вала!», но раздалось благословенное «Ур-р-а-а!», и, прокричи он эти слова, вряд ли бы кто услышал.

Кондратенко повел в атаку равномерно расползавшееся пятно, гулко бухавшее копытами, разъяренно улюлюкавшее, сверкавшее шашками и саблями, – пятно, частью которого был он, Ефимыч, полковой комиссар неполных девятнадцати лет от роду.

Но, проскакав под неугомонный винтовочный треск до затоптанных сторожевых костров врага, красные кавалеристы остановились: неприятель почему-то предпочел отступить за гряды невысоких редколесных холмов, окутанных стелющейся дымкой утреннего тумана.

Все замерли в оцепенении от жгучей обиды.

Потянулись медленные, невыразительные минуты бряцанья оружием.

¹³ Агада – область талмудической литературы, содержащая афоризмы и поучения религиозно-этического характера, исторические предания и легенды.

Ефимыч, вглядываясь в бинокль, пробовал разобраться в неожиданном поведении поляка.

Оптика сквозь белесую завесу рассказала ему, что неприятель, сидевший на полоске первых солнечных лучей, был дальше, чем они думали, и было их меньше, чем можно было предположить по интенсивности недавнего огня.

– Что видно, комиссар? – Кондратенко, невозмутимый, в привычном боевом кураже, с незримым нимбом вокруг лихо посаженной на затылок кубанки, пританцовывал на своем фыркающем темно-гнедом жеребце.

– Поляк пишет, чтобы мы за чужой славой не гнались.

– Грязно живет твой поляк, потому и пишет грязно. А ты, чернявый, не верь ему, не верь! Он звона славы не знает! – позлорадствовал орлиноглазый эскадронный. – Ты поляку, читай, подол уже задираешь лез. А они вон куда забрались, насадки-то твои беложопые. Или испужались, или волынят, или какую стратегию имеют супротив нас.

– Надо бы разъезд наладить.

– Было дело, сказывали яйца курице сказку.

И через несколько минут поднятый в еще одну разведку отряд уносился карьером, обходя поляков.

Эскадрон вернулся к реке.

Вскоре под запах печеной картошки Кондратенко был предъявлен рассветный ущерб.

– Ох и треплет нас халлерчик, ох и треплет! – вскипел эскадронный, перебрасывая дымящуюся черную картофелину из руки в руку.

– И как мы их только не заметили? – Комиссар не сводил взгляда с неглубокой ямы, в которую поверх убитых своих и пленных поляков укладывали мягкое, переломанное до последней косточки тело поторопившегося взводного, с болтающейся без опоры распатланной головой.

Глядя на запрокинутую голову эскадронного любимца, на его подкрученные усы, комиссар тихо усомнился в том, что принадлежность к партии большевиков есть источник всех благ, нечто бесконечно длящееся, вечное.

Эскадронный забросил недоеденную картофелину далеко в речку и возопил хриплоголосую песнь крови.

– А ты почто, Андрюшка, иного положения не нашел, как в этой речушке мудозвонной покалечиться, дал увести себя от дел прямых революции! – Но песнь эскадронного внезапно оборвалась: под ногою застывшего на краю вырытой могилы красноармейца поплыла земля, и тот, черпая воздух руками, сверзился к почившим.

Кондратенко пережил конфуз, играя желваками, после чего продолжил, но уже без прежнего воодушевления:

– Прощай, кроткая душа, братец Семеныч, кум мой своеручный, сокровник мой, прощайте, други ратные, не сумлевайтесь, дело мы ваше не загубим и гада вскорости в хребтине перешибем.

– И как только мы их проспали? – никак не мог успокоиться комиссар, отъезжая от засыпанной общей могилы.

– Да коли б проспали! Сам-то какой крепостью эскадрон в ночи укреплял?

Ефимыч распрямился, заскрипел кожанкой:

– Неожиданный поляк встретился.

– Ага... Нашим оружием бьет. Резьбу хитрую предлагает...

Он достал из-под бурки расшитый кисет, примирительно угостил комиссара табачком.

Вернулся разъезд, принес известие, что конные поляки оберегают пехоту, потому, мол, и ушли за холмы, а там, за холмами, поля со скирдами и деревенька аккуратненькая со старичком ксендзом и установленными на костеле пулеметами.

Предложение комиссара неожиданно атаковать неприятеля эскадронный отверг.

– Це добыче имя – дерьмо. Пущай уходит, на помин души. И так про поляка все ясно.

– Разворачиваемся к своим!.. К Столбам белым...

Под вечер благоуханно-терпкий и теплый разведэскадрон нагнал полк, и смерть, безраздельно властвующая последние дни, отступила на почтительное расстояние.

Мир и покой кругом с непривычки дурманили голову.

Остывающее рдяное солнце начинало косить татаринном, катиться медленно за рубчатое лоскутное покрывало покато уходящих вдаль полей. В дымчатом горьковатом мареве млевно тонули розовеющие лесные горизонты.

Мир и покой на розово-золотистых стриженных жнивьях.

Мир и покой на дыблящейся пыльной дороге в желтой листве, соломинах, гнилых обломках подсолнухов, битых яблоках, конском помете...

Дорога жила по-старому – вольностью, пыльными верстами. Дорога, которой если чего-то и не хватало, так это отставного советника в бричке, скромного «владельца нищих мужиков», мальчишек на обочине, собирающих яблоки в штопаные холщовые сумки, да коротконогих ворчливых шавок.

Эскадрон входил в имение походной колонной по три, сзади плелся один-единственный пленный поляк.

Кони, почуяв приближение заветного отдыха, трепетали ноздрями, вбирая в себя яблочный дух, настоятельно требовали к себе внимания.

Никто из всадников не кричал, как прежде: «Давай Варшаву!» Все понимали: эта барская деревня, в которую они сейчас входят, – и есть их Красная Варшава.

Где-то шумела плотина...

«Заглянуть бы за густую, непроглядную листву, спешиться, положить планшет на траву, усесться на него и смотреть, как струится, как падает и рассыпается, ударяясь о камни, вода. И под шум ее, наслаждаясь обыкновенным уделом, забыть месяцы боев...»

Комиссар хотел бы стереть из памяти, как рано утром третьего дня разведэскадрон обходил незаметно какую-то смазанную нищетой деревеньку, расположенную подле леса, да тут же в лес и унесся под пулеметный стук поляка.

«Разве забудешь такое?! За сто лет не забыть, как тяжело вести бой в лесу, тем паче что день выдался подслеповатый, туманный».

И уж конечно, он непременно расскажет комполка, как был ранен выстрелом в руку.

«Револьверным. В левую. А вот про ржавую селедку не надо бы ему рассказывать. Потому как селедка – дело исключительно плотское. Революции абсолютно безразличное».

Чувство смертельной тоски и слабости одолевало его со вчерашнего дня.

Где-то вдаль большое лохматое облако висело замком, большая часть которого была скрыта желтой листвою. Слева от дороги показался деревянный трактирчик со ставенками резными, с озабоченным, рассеянным мужиком на ступенях. Вот он – бугристый, красный, с бедной радостью в лучистых глазах.

«На католического апостола Павла похож. Случая, должно быть, поджидает, поделиться чем-то хочет».

– Хлеб-соль красноармейцам, Красная армия всех сильней... – покалечил русскую речь апостол, склонил красивую иконописную голову, прижимая мятый картуз к груди.

«Картуз, должно быть, мокрый изнутри». – Комиссар качнул серьгою в ухо, то ли мужику в ответ, то ли уходя от чего-то чрезмерно назойливого, черно-золотистого, жужжащего, летающего прямо перед глазами. Шмель, что ли? И рукою отогнал...

Апостол стоял так, словно ждал кого-то или чего-то. Пока ждал, разглядывал колонну. Что-то настораживало его, вызывало противоречивые чувства тревоги и восхищения.

Но вот он разглядел в колонне уцелевшего пленного поляка без конфедератки и портупей, плетущегося за хвостом хромающей лошади.

– Войцех... Wojciech!.. – губы апостола дрогнули.

И поляк плененный, узнав его, мгновенно голову перебинтованную вскинул, приосанился, дернул усами, будто судьба его еще окончательно не решена и возможен неожиданный поворот событий.

«Может, правда удел поляка в истории человечества – смелые глупости? Может, правда не он к истине лепится, а она к нему?»

Из трактира вышел хмельной трубач-сигналист в черной кубанке набекрень. Покачиваясь, цепляясь за сточенные каблуки на сапогах «с морщинкой», закричал скандально в яблочный свежий воздух:

– Кузьма, а Кузьма!.. Чесотку тебе в ноги. Верни инструмэнт, падло!

Потом все-таки оценил обстановку, узрел-таки прибывший эскадрон и небольшую конную группу, летевшую навстречу эскадрону, развернулся зыбко и – назад быстренько, к дверям трактира с тренькающим колокольчиком.

Комполка Верховой вылетел к эскадрону на поджаром «коглане» золотистого цвета с красноватой гривой и хвостом – прямо-таки светлоглазый кентавр. За ним ординарец Матвейка в черной черкеске и несколько старомодных казаков с пиками.

Остановились они возле белых каменных тумб, на которых еще полвека тому назад крепились старые ворота с фамильными позолоченными гербами.

Комполка молча приветствовал вернувшийся эскадрон. Смотрел сумрачно, должно быть подсчитывая в уме общие потери.

Кондратенко, увидев Верхового, понесся докладывать.

Ефимыч, удивившись неожиданной встрече – раньше представлял себе, как спрыгнет с лошади, как первый лихо взбежит по ступенькам штаба полка, – тоже поторопил Люську, стараясь не отставать от гонористого эскадронного. Но куда там, уже отстал. Теперь гнать совсем смешно было.

«Пусть молотит, чего мне поперек него лезть, я ведь по другой части, по духовной, так сказать».

Доложив, эскадронный покрутился на месте и встал рядом с комполка, будто памятник самому себе.

– Шевелись, комиссар, покеле светло. – Лицо Кондратенко изменилось, вытянулось в лошадиную морду.

А комполка:

– Ну, Ефимыч, пестрая твоя душа, побалагурим по-вольному? – Светлоглазый кентавр был почти глух, потому орал тенором в самое комиссарово ухо, да так, что его карабахский скакун, и без того горячий, храпел, раздувая ноздри, мотал головой и норовил встать на дыбы.

– Отчего ж нет, можно и побалагурить, – сбилось что-то внутри у комиссара.

– Ась?!

– Отчего нет, говорю, – повторил Ефимыч и почему-то глянул на лукаво улыбающегося Кондратенко.

А тот, перехватив его взгляд:

– Звонил звонарь помолиться, заодно самогонки испить, – и тут же пришпорил коня к голове колонны, поднимая пыль.

– Чего горло дерешь, комиссар? Ты мне природу не пугай, природа здешних мест без тебя пуганая стоит. А ну, покажь! – Верховой, успокоив своего «карабахского шайтан-баласы», как он его называл, осмотрел руку комиссара.

– Заживет без Красного Креста, – успокоил великодушно.

– И хорошо. Я наших врачей не уважаю. В особенности сестер.

- Что так про сестринские-то заботы?
- Добротою бабьей обращают служение революции в добровольную сдачу последних позиций.
- От той сдачи вроде как еще вчера всем хорошо было.
- Вчера еще – мы *туда* шли, а сегодня – *оттуда*.
- Твоя правда, комиссар. Мало нам поляка, так пожалуйста – сифилис. А он бойца весьма утяжеляет, в особенности при отступлении. Сам же – чертяка перелетный. Вот где, брат Ефимыч, комары-мухи.
- Понимаю, – согласился кисло Ефимыч и в профилактических целях назначил себе на долгий срок самарскую красавицу Броню личной сестрой милосердия. Себя же, стораемого желанием, усадил дожидаться ее в конце белого коридора, пахнувшего противной карболкой.
- «Понимаю»!.. А чего смотришь тогда глазами смиренного, хрен кожаный? Или из-за биографии своей снова скорбишь?
- Биография моя хоть и молода, а твоей не хуже будет, – обиделся комиссар, понимая, к чему клонит комполка. – Власть Советов национальность упразднила.
- Ась?
- Где нам, говорю, сапоги носить.
- Вот и я о том же. Ну да ничего, революция – она и голоштанном, и жидачам тетушку с блинами пошлет. Ну, давай, не муржь, сказывай, как пуля нагнала. – Комполка тронул коня, развернул обратно, направился меж двумя белыми столбами в сонную липовую аллею, будто вошел в картину какую, маслом писаную, из графского собрания, будто угодил в роман дворянский со сносками, с прехорошенькою девицею в беседке, обласканной заветной пушкинской строкой да солнечным лучом на память.
- Ну как-как... Отстреливались.
- Так...
- Отстал я.
- Так...
- Налетаю на двух поляков. Одного кладу, – намеренно сухо рассказывал комиссар. – Вижу, второй из револьвера целится. Вскидываю свой «маузер»...
- Ну?!
- А он опередил.
- Ась?! – спросил комполка и показал на пруд слева и пруд справа. – Тина есть, а болезней нет. Хуч сам купайся, хуч любуйся в бинокля на бабские оттопырки.
- Пуля ударила в руку, да с такой силою, – разозлился комиссар, – что я с лошади – на корневище.
- Что ж так, бедняга?..
- Лежа успел произвести несколько выстрелов наудачу и, сдается, попал-таки по гаду, потому как услышал рык. Хотел встать, пойти и прикончить...
- Ну, – снова оживился комполка, поэтично задирая голову к небу, будто подыскивая рифму к слову «прикончить».
- Чувствую – боль выше локтя... кровь растекается... пробую пошевелить рукою, все без толку. Во рту горчит, и в сон кидает...
- Да как же так – «в сон кидает», Ефимыч?! При таком деле, когда пуля навyleт и кость не задета, глаз закрывать никак не можно.
- Я его на мушке держу, а он меня. Шмальнет – я в ответ.
- Вот где потеха...
- С полчаса по-пехотному лежали, пока Тихон меня не обнаружил. Зашел поляку за спину, отметил прикладом. Хотел саблю обагрить, да я ему не дал. Сказал, сгодится еще офицерик.

– Стало быть, простил?!

– Тихон поляка поперек коня и кричит: «Догоняй, комиссар, мы такую шляхту дородную растянуть решили!»

– Тут вы и попались, – продолжил за комиссара Верховой, – в отделку вас всех.

– Точно. Но потом вырвались. Поблуждали маленько, да в тыл к тому же поляку с налету и завалились.

– Господи-батюшка, прости им их прегрешения.

– На «прегрешениях» с эскадронным твоим и схлестнулись. Ему ведомо что нужно, а мне ровно наоборот, потому как мертвый со мною, железно, планами не поделится.

– Самовар, что ль, тебе поставить на белой скатерти? – Верховой слушал с легкой ласковой улыбкой, с дремно опущенными ресницами, позволяя коню укачивать себя, ему не нужно было переспрашивать: теперь он все слышал. – Ладно, чего язык даром трепать. Вона там налево конюшня будет, дальше – риза, напротив флигель старый барский, за ним егерская. Я тебя в охотничью определил, там вроде спокойней. Поляк сегодня не объявится...

– ...Он и завтра не объявится.

– Ну вот, час соснешь, а после с эскадронным докладывать будете, почему завтра не объявится.

– Могу сейчас, мне что...

– Прыть свою пересилишь, бесприютное животное, и к шести ко мне, прилюдно поляка описывать, во всех красотах, мать его в рогатывке до семи утра...

– А что тут, в имении-то, поляков много?

– Тута, что ли? Убег из имения твой поляк в массе своей малосознательный.

Комполка поскакал прямо в сужающийся конец аллеи, а Ефимыч свернул налево, мимо яблоневого сада, к конюшне, возле которой кипела кавалерийская жизнь.

Спешенный эскадрон расседлывал лошадей между конюшней и старым флигелем, крыша которого была такого же ядовито-зеленого цвета, что и крыша конюшни.

Несколько казаков несли седла так, будто на ушкнях речку переплывали в лунную ночь.

Возле навозной кучи, увенчанной прохудившейся торбой с остатками зерна, здоровенный гусь по имени Друджик защищал в неравном бою своих толстозадых гусынь от непрошенных гостей, исходивших запахом крови и тлена.

– Гуся не тронь!

– Это как же?!

– А так. Есть без тебя кому первую птицу в имении жрать, – сказал ординарец Верхового.

Вздрагивающая рыжая кобылка возле тачанки, на которой сушились несколько гимнастеров и парусиновых рубах, любовно облизывала совершенно игрушечного пушистого жеребенка, потерявшегося во времени у материнского соска.

Тихон уже раздобыл где-то кипяток, пил неспешно из дымящейся медной кружки, обложенной свежим хворостом, то и дело издавая звуки чмокающихся в воду пуль.

Ефимыч вплотную подъехал к своему ординарцу.

– Ну будет те, шалая, дурить-то! – ординарец недовольно отвел кружку в сторону от Люськи.

– Принимай! – Комиссар спрыгнул с лошади, разминая непослушные ноги. Люська ткнулась в Тихона и гривой, гривой к нему...

– Ох, и дурноезжая у тебя кобылка, комиссар, по любому случаю форсит... Я и овсом ее, и пшеничными отрубями, так она, гадюка, все равно грызется как собака... А тут – в сердце норовит, соскучилась, видать. Поди знай, чего у нее в голове баянит.

– А то и баянит, что ты ее пшеничными отрубями давно не кормил.

– И то правда.

Комиссар был уже рядом с загонем для лошадей, тем, что на холме у дороги, петлей заворачивающей вправо, когда заржала Люська. Он обернулся.

Тихон, заметив взгляд комиссара, махнул ему рукой, мол, шел себе и иди, не оборачивайся, сам понянкаюсь, что Ефимыч и сделал, правда, почувствовав какой-то укол в сердце.

«Эх, Люська-Люська, чудо ты мое!»

Не попади он сюда, никогда бы не подумал, что все эти люди, в грош не ставившие чужую жизнь, могут так печься о своей. И чем чаще они лишали жизни других, тем больше ценили собственную, вымаливая для себя еще одно утро, еще одну ночь. Уповая на чудо, а только оно и могло спасти от гибели в той же конной атаке, они доверялись лишь своему звериному чутью, и чутье это подсказывало им – представителем чуда на земле является конь. Какой конь – такое и чудо твоё.

Его чудом была Люська, не раз спасавшая ему жизнь.

Он вспомнил, как впервые увидел ее. Она стояла в загоне одна. Тихо стояла. Косила свой выпуклый влажный глаз.

– Дурочка считается, – сказал про нее Тихон.

– Почему дурочка-то?

– Мамку ейную шрапнелью грохнули, когда она на ногах еще еле стояла... Сначала пристрелить решили, потом тетешкались хором, вот и вымахала большой дурой.

Стоило Ефимычу с Тихоном облокотиться на загородку загона, как Люська отбежала в дальний угол и оттуда устремилась на него, понеслась, будто намеревалась затоптать. А у самой загородки встала на дыбы и заржала.

– Говорил же, дура-лошадь! Разве же можно живот так показывать?!

И лучше б Тихон не сказал этого, потому что Люська проделала то же самое еще раз и еще.

– Глянул ты ей, комиссар, ну, прям как девке глянул. Ей-богу! Полюбила она тебя душою свежей, можно сказать, с первого своего взгляда. Точно, как казачка себя ведет. Животное, а понимает, шо мужику надобно.

Ефимыч смутился: и сам почувствовал, что Люська не просто так объявила свое лошадиное согласие, что союз их – союз всадника и лошади – уже заключен.

Он шел по узенькой тропке, которая, судя по всему, должна была скоро упереться в дорожку.

Многорукие вековые дубы стояли, точно по раздельной записи. У корней сосны лежал камень, и камень тот был причудливой формы. Возле него стояла восьмигранная в птичьих гнездах беседка. Стояла так, будто кто-то из будущего, смахнув паутину, любовался ее обветшалостью. И тишина кругом – как общая, совместными усилиями завоеванная мечта.

Ему показалось, будто место это с причудливым камнем и косенькой беседкой он видел уже когда-то в самарском scarlatinном детстве. Странно, что оно всегда, в отличие от всех других «температурных» мест на земле, казалось ему единственно свободным, никем не занятым, дожидаящимся его вступления во владения.

«Может быть, я помню это место из прошлой жизни? – подумал комиссар, но отогнал от себя эту мысль как совершенно непригодную для железного марксиста. – Эти символистские игры до добра не доведут».

От беседки вилась узкая дорожка. Она выводила к маленькому гнutoму мостику, под которым тихо стекала вода.

Ефимыч подошел к охотничьему домику.

Огляделся и, когда кто-то неподалеку крикнул: – Анька, где ты? Нюсик, Нюсечка, маточка моя! – решительно направился к двери, чтобы избежать встречи как с Нюсечкой-маточкой, так и с самим обладателем паточного голоса.

Такую дверь толкают, пригибаясь, даже не очень высокие люди. Скроена она была из двух сучковатых половин, вглухую подогнанных. Для красоты и надежности обита красноватой медью.

Ему показалось, за нею что-то до боли знакомое разбросано, что-то, что оставил он, не задумываясь, в четырех углах прежней своей жизни, а теперь вот оно – разбросано на сотнях страниц неразрезанной книги, название которой пока неведомо ему, книги, которую он найдет позже и, возможно, прочтет позже, когда все кончится и снова начнется.

Он решил: первое, что увидит за дверью, и будет ключом ко всему дальнейшему, если не всей его жизни, то, по крайней мере, важной ее части.

«Не отсюда она, эта дверь. Верно, пересадили ее рукастые люди».

Комиссар толкнул дверь и, когда та простонала, вошел, пригибаясь.

Первое, что увидел он, была обычная деревенская муха, совершавшая обычный для этих четырех стен облет.

Он мог бы ее рукой поймать, а мог и пристрелить по-александр-пушкински. Но Ефимыч отказался и от первого, и от второго развлечения, стоило ему взглянуть на девку, отжимавшую в ведре тряпку.

– А ну, ноги!.. – приказала она, и подол задранной юбки слетел вниз.

– Ноги – это у тебя. У меня какие ноги, одни задние, да и те об отдыхе мечтают.

– Я на твой жалостливый мед не падкая, – и бросила тряпку, будто черту разделительную провела.

– Анька?

– А што?

– Так ищут тебя...

– И пущай... ищет. Пердовый мужичишка... Павлинье перо. Поперек дыхания мне. Сказывают люди, будто душу продал Соломонке в «Жидовском курене», а после на Кавказы утек с колдуном каким-то.

– Ох, и хороша ж ты!

– Когда мужик голодный, ему всяка баба хороша, в особенности девка.

– Так ты что, девка, что ли?

– С одной стороны, вроде как девка еще, с другою – баба опытная...

– Не сбита, значит...

– Хранюсь для любви на всю жизнь.

– В наше время твой сургуч разве кто оценит? – Ефимович аккуратно обошел ведро, огляделся по сторонам, втянул ноздрями запах сырых половых досок, стираного белья и керосина.

– Авось повезет... опять же радость человеку.

– Ну, коли так, глаз разжигать не стану. – Он достал из кобуры «маузер», предварительно зажав ее под мышкой прострелянной руки, и затем аккуратно положил пистолет на черный лоснящийся стол с масляным разводом посередине.

– Так ты ж, видать, жидок, тебе жидовочку небось подавай.

– Откуда знать тебе, чем грежу я.

«И как только этот пестрый мир так быстро определяет, кто я? Какой краски во мне недостает? И если я попрошу ее у мира, не сделаюсь ли должником на всю жизнь? Не буду ли у него на побегушках?»

Он одной рукой освободился от портупеи и положил ее на стол, рядом с пистолетом.

«Вон Гришка-телефонист, что табаком приторговывает, ему все равно, еврей он или нет, и всем, похоже, на его палитру наплевать. Но Гришка – другое дело, Гришка – собиратель голосов, и только после – потомок Авраама и Иакова».

Все то время, что комиссар задавался этим с детства волновавшим его вопросом, Нюра не сводила с него глаз. А он словно не замечал ее, словно уже один был на краю пестрого мира.

Только Ефимыч кожанку снимать, она:

– Погоди, жидок, подсоблю... – и подлетела, и соском твердым в комиссарово плечо ткнулась, а сама душистая, и с кислинкой юной. Колышется девка вся, сосредоточенная на одном ей известном, комиссара совсем в угол загнала.

Только он на лавку кожанку бросил свою, только на гимнастерке верхние пуговицы отсчитал, сделав серьезным и строгим лицо, как явился, скрипя половицами, обладатель паточного голоса – очень странный господин, виртуозно сочетавший в одном костюме полоску и клетку.

Господин был так крепко надушен, что это немедленно почувствовали и тяжело дышавшая Нюра, и комиссар, и только что очнувшаяся ото сна муха.

– Анна Евдокимовна, так вот вы где, душечка!..

Увидев комиссара, спохватился, по-офицерски стукнул каблуками двухцветных, английской марки ботинок, имевших весьма плачевный вид, и выплюнул горько-вкусную тростинку в сторону ведра. (Вероятно, намеревался попасть в него, да промахнулся.)

– Белоцерковский, – представился щеголь, – Родион Аркадьевич.

Нюра, едва сдерживая себя от нарастающего недовольства, даже не позволила комиссару представиться в ответ:

– Давно не видели вас, Родион Аркадьевич.

А тот, словно не замечая сверкания ее глаз:

– Вечность, Анна Евдокимовна, вечность египетскую. Не при постороннем человеке будет сказано, – он показал на комиссара, точно тот стоял пред ним каким-нибудь святым в митре и с золотым посохом в руке, – но вы, Анна Евдокимовна, душегубительница...

– Тю!.. – Нюра поднятой шваброй остановила движение Родиона Аркадьевича к себе. – Стоять!.. – Брови нахмурила. – С пола подними, что бросил...

– Не «тю», – Белоцерковский аккуратно поднял тростиночку и так же аккуратно отправил плавать в ведро, – а так оно и есть по слову русскому. Вторую ночь кряду глаз сомкнуть не могу, а только в сон – ей-ей, начинает мне Исида сниться. Вы, Анна Евдокимовна, верно, женщины той не знаете совсем, так я устанавливаю ее вам в лучшем виде, она, между прочим, одна из величайших богинь древности.

Ефимычу этот балаган начал порядком докучать: впервые за долгое время он встретил гражданского человека, и человек этот уважения в нем не вызывал: павиан какой-то в английском костюме и в английских же ботинках. Но какой же глаз у него настороженный, въедливый, словно он стрелять изготовился. И жировик на лбу то исчезнет в мудрых морщинах, то появится вновь.

«На географа нашего Георгия, как бишь его там, чем-то смахивает, когда тот вызывал нас к какому-нибудь острову или водопаду».

Заметив, что комиссар, пристально глядя на него, начал что-то мучительно припоминать, странный человек на всякий случай еще раз представился:

– Белоцерковский, так сказать... Родион Аркадьевич... Я, собственно... – и потянул себя за мочку уха, словно в свою же голову позвонил.

– ...Полно, Родион Аркадьевич, – сказал комиссар не без удовольствия, потому что в ту самую минуту Родион Аркадьевич окончательно слился с Георгием-географом. – Можете продолжить ваши шумные водопады неподалеку от прудов, если, конечно, Нюра того пожелает. – Ефимыч повернулся к Нюре. – Поднимешь меня через час. Где лечь могу? На лавке, что ли?

– Зачем на лавке? За той вон дверью кровать имеется...

– А правду говорят, будто часть здешних поляков из имения ушла?

– Как есть все ушли, одни непутевые остались. Ушли и скотину с собою забрали.

– На другой берег реки переселились, – уточнил Родион Аркадьевич. – Шатры не разбирают, костров не разжигают, красных боятся.

– Как же они со скарбом, со скотиной через реку?

– Кто на пароме, кто вброд с курой на голове.

– А найдется ли мне что-нибудь из еды? Лук, хлеб и то хорошо.

– Как встанете, так и получите, – обнадежила Нюра.

– Идемте, Исида моя, я расскажу вам, где есть сметана, сыр и молоко, – проявил заботу странный человек с придавленным самолюбием.

– Молока не надо, – комиссар поморщился, – а сыру бы хорошо.

Странный человек совсем расчехлился:

– Все будет! И сыр, и Египет.

Глава третья

Керим

Он очнулся от чьего-то присутствия за спиной. Вскочил со стула. Резко развернулся, вспоминая, что Мара осталась в Москве, а сыр и Египет сейчас в Баку.

Встал посреди комнаты.

Без парика – лет на двадцать постаревший. Сморщился от боли в висках. Такое чувство, словно в голове тачанки проносятся одна за одной.

О своей способности исчезать во время письма Ефим знал, но, видимо, так далеко еще не забирался и не возвращался так стремительно, иначе с чего бы испуганный Керим начал с извинений:

– ...Прости, ага. Я стучался. Ты не слышал, – заглянул в его еще не вполне здешние глаза своими красными, близоруко приторможенными.

Надевать парик при Кериме Ефим не стал. Спросил, не скрывая раздражения, что ему нужно.

Керим смутился еще больше, сказал, что пришел за сковородкой, что она не ему нужна, а старухе.

– Как зовут ее, твою старуху?

– Месмеханум ее зовут.

Лицо его, с сильным раздражением от бритья на коже – наверное, Керим брился два раза в день, – сделалось мрачным. Все-таки обиделся...

«К восточному человеку нужен восточный подход», – подумал Ефим и сказал:

– Красивое имя. Передай Месмеханум, что хлеб у нее в самом деле – необыкновенный. И чай. И скажи ей еще, что сама она тоже необыкновенная.

Заулыбался Керим, показал зубы кривые. Подошел к столу, не скрывая любопытства, облетел стол хозяйским взглядом, установив на углу два своих пальца-инспектора.

– Передам, ага. Обязательно передам. – И еще один облет стола, глissада и долгий взгляд на пепельницу. – Почему э куришь так много?

Только сейчас заметив, что Ефим без парика, Керим, словно солидаризируясь с ним, снял кепку и провел рукою по своей обширной лысине. (Он, так же как Ефим, сразу же постарел.)

– Я всегда, когда пишу, много курю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.